

84(2=411.2)

Д-318



*А. Демченко*

---

В краю легенд

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллч. пред. выдач \_\_\_\_\_

И/1/4/12

Воскр. тип. Т. 1 млн. З. 384—74

AS

276109

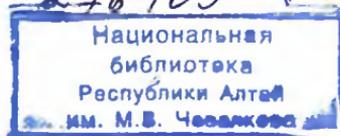
КР



ад

P2  
Д30

276109<sup>0</sup> V



276109<sup>0</sup>



Демченко А. М.

Д30 В краю легенд. Рассказы и очерки. М., «Современник», 1977.

208 с. (Новинки «Современника»).

На страницах книги «В краю легенд» писатель Александр Демченко ведет взволнованный разговор о настоящем и прошлом родного ему Горного Алтая, о легендах, которые звали людей сюда в поисках земли Беловодия. Поэтичные и мудрые, эти легенды отражают мечту народа о счастье, раскрывают благородство и ум простых людей интереснейшего и самобытнейшего края нашей земли — Горного Алтая.

Д 70302—106  
М106(03)—77 18—77

P2

---

Очерки



## Чуйский тракт

Если вам приходилось видеть, как рождаются малые речушки, вы не могли не заметить их яростного упорства и решимости пробить свой путь, свою самостоятельную дорогу в жизнь.

Родившись в каком-нибудь темном урочище, такая речушка смело устремляется к свету. Извивается, петляет, атакует с размаху камни и лесные завалы. Хитрит, обходит коварные пади и гнилые болота — ей не хочется застоя, ядовитой ряски, омертвляющей живую струю.

Но не долго путь речушки: впереди большая река.

Так и с дорогами. Сотни их, малых, петляет в горах. И на каждой — следы человеческого пота. Сердца. Дум. Счастья или роковой беды. Много в горах было дорог злых и добрых, коварных и темных. А светлыми были, может быть, только отдельные тропы. И то не для каждого, а для тех, у кого всегда тугие арчимакн<sup>1</sup>, кто мог сказать с правом сильного:

— Это мое. И долина, и лес, и, видишь, скот в долине. И он мой. И твое счастье, анчи<sup>2</sup>, — все мое.

Так было.

Революция развеяла смрад диких урочищ. Увидели люди озаренные ее солнцем новые дали и потянулись к ним, смело и решительно избавляясь от ветхой старины. И тысячи дорог и горных тропинок влились в одну могучую магистраль, которую назвал народ Чуйским трактом.

А начал он свой многотрудный, но победный марш от старинного русского городка Бийска, который разрезает

<sup>1</sup> Арчимакн — кожаные походные сумы (алг.).

<sup>2</sup> Анчи — охотник (алг.).

пополам могучая река Бня, единственная дочь сказочного Золотого озера — Алтын-Кёля. На карте это озеро зовется Телецким.

«Чуйский тракт до монгольской границы...» — слова из народной песни. Но Чуйский тракт тянется значительно дальше. Он перебросил мосты от полупатриархального уклада прошлого к достижениям сегодняшнего дня. И еще дальше — от сердца к сердцу его путь. Он помог горнякам Акташа проникнуть к кладовым гор. Он прорубил окно в новый мир для пастухов Кош-Агача и Улагана. По нсму юнцом ушел из Яконура Петр Кудачин, безвестный чабан из семьи потомственных скотоводов, а вернулся первым инженером-механизатором. А за ним в родной колхоз пришли агрономы и зоотехники. Вчерашние кочевники, они стали дипломированными специалистами.

И я помню, Петр Кудачин как-то сказал:

— Чуйский тракт — это живая рука России. Братская рука великого народа.

...Стремителен в своем беге, суров и красив Чуйский тракт. Вот он врывается в скалу, виснет над пропастью, легко и свободно взбирается на перевалы, словно стрела, выпущенная из лука сильной рукой, рассекает могучие лесные заросли, а то вдруг делает петлю, прошумит курумником над самой кромкой обрывистого берега Урсула или кураном прыгнет через бурные воды белопенной Катуня.

Чуйский тракт... Вспоминаю разговор с родоначальником династии верблюдоводов Кош-Агача, древним пастухом Кадыром Ачубаевым. Он говорил:

— Будто все сдвинулось со своего места. Если моя юрта расправит когда-нибудь свои крылья и взлетит на Чагат-вершину, я, пожалуй, ничуть не удивлюсь. Я только посмотрю на своего внучонка и спрошу его: «Не твой ли, балам<sup>1</sup>, это фокусы?» Время моего прадеда и отца и мои восемь десятков лет шли неторопливой походкой верблюжьего каравана. Идет, бывало, раскачиваясь из стороны в сторону, день, как год. А сейчас наоборот. Я знаю: эти крылья орла дал нашим людям Октябрь.

И вы правы, Кадыр Ачубаевич. Не верблюжьей стопой меряются события и время в наши дни. Эта мера ста-

---

<sup>1</sup> Балам — мой ребенок (алт.).

ла слишком малой для тех, кто расправил крылья и смело ушел в полет. И заметьте, Кадыр Ачубаевич, совсем не стареют эти крылья. Наоборот, в них с каждым днем все тверже, все сильнее мускулы и стремительнее их полеты. Вы тогда заметили мудро:

— Когда человек собирается в дальнюю дорогу, он живет завтрашним днем. Потому что любая дорога не умеет пятиться назад. Какое время пришло! Как оно возвеличило человека и дало ему огромную силу! Удивительное наше время! У него и бег теперь не аргамака или моего самого быстрого верблюда. Десятилетия — за год-два. Вот так оно теперь идет. Обратали его люди. Заставили на себя работать. А знаете, кто первым вмешался в жизнь пастухов Кош-Агача? Чуйский тракт! Это он принес большую весну в наше высокогорье. Он может многое рассказать. Только надо уметь слушать и понимать язык этого тракта. Помню, как-то летом пронес он на себе до десятка нарядных автобусов. Казалось, цветами покрылась Чуйская наша долина. Столько улыбок было в тот день! Это парни и девушки из Монголии приехали на праздник дружбы. На фестиваль. Знаете, так и хотелось в этот момент сказать людям планеты: «Приезжайте к нам, посмотрите, как строит новую жизнь алтайский народ».

Чуйский тракт... Надо уметь его слушать. Это верно. Но если б суметь прочитать следы на нем, пожалуй, каждый из парней и девчат наших нашел бы на нем первые записи из своей трудовой биографии. Вот добрались из Каярлыка и Ело на двуколках к знаменитому тракту молодые алтайские парни Адаров, Палкин и Укачин. Ушли из аилов прямо в светлые аудитории Московского литературного института имени Максима Горького.

— Чуйский тракт был нашей первой светлой дорогой в литературу, в жизнь, — вспоминают они.

И недаром поэты говорят о нем в стихах, отождествляя его с живой судьбой алтайца.

Многое помнит Чуйский тракт. Помнит, как шли и ехали по нему тысячи алтайских труженников, чтобы защитить счастье своего народа от фашистского порабощения в годы Великой Отечественной войны.

А когда фронтовики принесли на своих знаменах победу, будто сам огонь сражений ворвался с ними в родные села. Оделись долины в строительные леса. Что ни

колхоз, то стронтельная площадка. Тысячи машин пришли в села на помощь людям.

«Чуйский тракт до монгольской границы...»

Нет, он идет значительно дальше. Он — живой свидетель наших побед, становления нашего счастья. Надо уметь только читать его, слушать его были... Он многое видел, многое знает. Вот одна из первых деревенок на его пути — Майма-Чергачак. Пропахшие дегтем и навозом, лепились когда-то на стыке двух рек крестьянские избушки. Одна-две лавчонки, часовенка на развилке дорог, самые крупные здания — мангазен, а попросту амбары с зерном. Грязные улочки, скрипучие колодезные журавли, тесная школа на полсотню ребят. Вот и все. А в Чергачаке русские избушки вперемежку с алтайскими аилами стояли. Такой помнит тракт Майму-Чергачак, когда прошел его окранный в начале тридцатых годов. Сейчас огромное село раскинулось на Катунь. Средняя, восьмилетняя, начальная школы. Заводы. Огромное хозяйство опытной сельскохозяйственной станции. Прекрасные магазины. Гостиница. Несколько столовых. Кинотеатр. Не село, а городок на тракте! И конечно же, Чуйский тракт отлично помнит, как это все произошло. Небось до сих пор гудят его натруженные плечи. Но он — трудолюб. Оттого и не стареет. Асфальт вместо гудрона очень ему к лицу. Он молодит его.

А разве такие перемены в одной Майме! Спросите Катунь, которая вот уже десятки лет сопровождает в почетном карауле дорогу жизни. Она хорошо помнит, как совсем недавно на ее берегах стояли по всей долине дымные аилы кочевников пастухов. Вился сиротливо синий дымок от пастушьего костра да бродили косогорам редкие отары овец и коз. Тоскливая песня безрадостной жизни падала вечерами на ее волну. Где-то в ущелье монотонно гудел одинокий топшур<sup>1</sup> и кайчи — сказитель — бередил души анчи мечтой о свободе и счастье.

Меняется время. Меняются песни. Но таких, как сегодня, не было: задорных, веселых, искристых...

Летопись тракта пополняется новыми страницами день ото дня. Вот спустился «газик» с Ябоганского перевала. Он проскочит Теньгу и вырвется на простор у Се-

---

<sup>1</sup> Топшур — шипковый музыкальный инструмент с двумя волосяными струнами (алт.).

минского перевала. О чем расскажут Чуйскому тракту колеса этой машины? В стремительном их беге он разберет:

«У Якопура новые славные победы в труде. Пущен новый мощный элеватор. Заканчивается строительство школы».

А навстречу легкому «газику» идут тяжелые ЗИЛы. И в шуршании их шин слышится: «Везем кормозапарники... Новое оборудование на фермы колхоза имени Карла Маркса...»

По-хозяйски механизмирует свои фермы этот Онгудайский колхоз. Десятки раз всем своим автопарком ходит до Маймы, до Бийска богатый колхоз за новой техникой. И год от года растут доходы артели. А вы знаете, сколько мотоциклов в этом колхозе? Почти в каждом втором доме. Нынче летом на центральную усадьбу колхоза в село Курату съезжалась перед самым сенокосом вся колхозная молодежь. Она разбила большой стадион. Посадила деревья и подвела к саженцам воду. Благоустроенное село!

Все больше и больше проходит машин на высокогорную Чуйскую степь с необычным грузом: длинными трубами. Когда-то они были ни к чему в Кош-Агаче — сейчас в них острая нужда. Что же случилось на той высокогорной равнине? Ничего особенного. Просто люди стали смелее в своих делах. Они решили преобразить степь. Пустить туда воду. Сотни, а может, тысячи лет звенела галька в необъятной долине Чуи да свистел на ветру песок, набиваясь в редкие заросли карганы. Прорывались горные реки на степь, но увязали на полпути в песках и гальке, так и не донеся спасительную влагу до выжженной сухой степи. И долгие годы мирился животновод с такой несправедливостью. Отары овец и табуны яков шли к благодатным альпийским горам, толпились у редких озер и ключей. А десятки тысяч гектаров земли оставались на откуп горячему солнцу и свирепым ветрам. И уродовалась та степь на глазах, превращаясь в полупустыню.

Мирился с этим человек, потом, почувствовав свою силу, сказал:

— Хватит!

Такого еще не видала Кош-Агачская степь. Животноводы ордена Трудового Красного Знамени колхоза име-

ни 50-летия СССР прорыли арыки, построили главное ирригационное сооружение на речушке Тархата. Перекрыли шлюзами и пустили воду на степь. И степь ожила. Десятки отар уже нажировываются на траве воскресшей земли. Но тархатинцы пошли дальше в своих начинаниях. Они пробурили несколько артезианских колодцев и заставили подняться подземную воду наверх.

Разведчики «голубых сокровищ» — так называют в Кош-Агаче бурильщики — появились во всех колхозах. Забили первые фонтаны воды в Тебелере, в Ортолыке, в колхозе имени Чапаева и в Курае...

О том и рассказали стальные трубы, которые кочуют по тракту до самого подножия Чуйских альп.

...Многое может поведать Чуйский тракт. Только надо уметь читать его письма, что ложатся на черной от трудового пота его колее. Он аттестовал не одну сотню молодых водителей автомашин, сделав их мастерами нелегких горных трасс. Мы слышим биение его пульса, и мнится: это одна из далеких артерий нашей великой страны.

...Чуйский тракт... Молодость нашего горного края. Счастье и юность алтайцев. Нестареющая песня — Чуйский тракт.

## В краю легенд

### Тропою древних

Здесь на каждом шагу мнится легенда. Она и в древних складках гор, и на таинственных замшелых тропах, и в белесом лишайнике, припаянном к гладким каменным плитам. Она отзывается гулко где-то в провале глубокого каньона, печатая каждый шаг коня. Она открывает перед путником каменные Красные ворота на Улаган, подозрительно свешиваясь с недоступной кручи в молчаливом изваянии древних камней.

Легенда вольно гуляет в вершинах подоблачных Чуйских альп. Где-то там, по караванным тропам древних, идет она за вами, бьется в кипящих струях стремительной Чибитки. А дорога из тропы превращается

в тракт. И не верблюды, медлительные и гордые, встречаются вам на пути, не полудикие аргамаки с раскосым скифом в седле — обычные ЗИЛы и юркие «газики», с обычными рабочими парнями за рулем. Теснят каменные заставы неторопливые, но упорные в работе бульдозеры. Это новая легенда наших дней. Позади — Акташ-гора. Та самая, которая всегда держала в страхе окрестных жителей, выделяя ядовитые газы, заставляя деревца и травы стелиться по земле у своего подножья. Это та Акташ-гора, о которой когда-то с опаской говорили казахи и алтайцы Кош-Агача:

— Шайтан-гора. Злой дух сидит в ней...

И чтобы задобрить этого духа, редкий путник на горном перевале торопливо привязывал к ветке встречной березки белую ленточку — знак уважения и благодарности за сохраненную жизнь.

Вот новая легенда. Она родилась в наши дни. На этой пустынной, таинственной и недоброй Акташ-горе изловили-таки «шайтана», пускавшего из-под земли злые пары. Это был очень нужный и ценный металл — ртуть. Когда он понадобился, советский человек проник в недра горы и на высоте почти трех тысяч метров над уровнем моря взял его. Потом построил в живописной Мёнской долине рабочий поселок. Завез современные машины и пошел дальше в своих смелых начинаниях — решил завернуть к поселку могучую реку Чую. Прорыл канал, уложил трубы. На месте перемычки вырастет здание первой в Горном Алтае мощной Чуйской ГЭС. И вода Чун, покорная властной руке человека, пойдет в гору, спустится по ущельям в Мёнскую долину и оживит суровую местность.

А древние тропы идут у подножья белков. Спускаются в долины остатками забытых кочевий, уходят легендой в седые курганы Пазырыка. Суров, неприветлив Улаган. Часто хмурится небо, но дожди обходят стороной. Потому и трава желтеет рано. Дуют холодные ветры. Мало солнца здесь. Мало тепла. Но и в этой суровой хмари — своя прелесть и красота. Неповторимы краски неба, когда цветет оно в закате над могучими отрогами неприступной горы Кискашту-ойык. А стремительная лавина Башкауса, вылетающая на просторы Улагана с гор? Каменные торосы... ожерелья брызг. Сокрушительный напор огромной массы воды, летящей навстречу такому же беспокойному

богатырю-собрату бурному Чолушману. Туда, в Чолушманскую долину, на юг, к солнцу, и ведет эта древняя тропа. Но она здесь не одна. Их много. И которая из них самая древняя, трудно определить на глаз. Мы сворачиваем на Пазырык, крутой увал, в недрах которого скрыты древнейшие захоронения.

Лихие землепроходцы седой старины, они были здесь, их кони копытили эту землю. Не эти ли россыпи полуразрушенных скал были свидетелями людских трагедий и неразгаданных человеческих судеб тех лет? Немые памятники седой старины, они тоже могут заговорить. Голые сопки. Широкие равнины. Безымянные курганы имеют тоже свой язык. Его надо разгадать, этот язык. И здесь, в Пазырыкской долине, была сделана попытка «оживить» курганы.

В 1937 году археологическая экспедиция известного теперь археолога доктора наук Сергея Ивановича Руденко начала раскопки. Первый же из курганов заговорил. Перед археологами открылось захоронение — остатки разграбленной могилы.

Вернулся Сергей Иванович на Пазырык с новой экспедицией уже в 1947 году. Этот год принес ему мировую славу — Пазырык открыл свои сокровища. Они бесценны — и этот дошедший до нас через века ковер, и оружие, и гробница, и разная дорогая утварь, и убранство воина...

Примерный возраст их — 2400 лет.

Руденко обратил внимание на ровную линию камней, сложенных у могилы. Их было столько, сколько висело скальпов на поводу коня. Жертвы этого скифа?

Приоткрыв страницы древней книги, Пазырык замкнулся. Сколько легенд и событий храпят еще его курганы и кому посчастливится прочесть их — дело времени.

Хмурится небо, будто в сговоре оно с этими седыми курганами. Свистит под копытами коней острец. Извиваясь на крутом голом склоне увала, сбегает в долину каменная тропа.

#### Лебединое озеро

Тропа идет по самому берегу Улагана. Беспокойная речушка мечется по долине, за ней повторяет ее изгибы и тропа. То ныряет в густые заросли кустарника, то па-

дает под кручу обрывистого берега и шуршит галькой и песком под копытами коня. Потом метнется па предплечье крутого увала. Распрощается с речушкой и поведет вас выше п выше.

Здесь ущелье — будто разрубленная острым топором гора. Склоны крутые. Внизу блестит Улаганка. Чем выше поднимаешься по ущелью, тем речка ўже. Вот-вот, кажется, превратится в ручеек. Но ущелье раздвигается. Вдали лысые сопки. На них, словно лишай, белеют солонцы. Тропка сбегает вниз на открытые поляны. Показался над лесом сизый дымок. Видна стоянка. Это Туура-Ачык. Здесь летом пасут коров животноводы Балыктуюльского колхоза.

Можно спутать коней. Отдохнуть. Запалить костер.

От костра мечутся искры. Горы, кажется, придвигаются к костру и вступают в беседу. Вот где-то протрубил марал. Раздался топот и хруст... А внизу, в камышах, все время слышится возня, шелест, кряканье. Дичь. Чем ближе к Лебединому озеру, тем чаще проносятся со свистом косяки уток. А костер искрит, искрит. Мечутся по сторонам раскаленные пульки пихтовых углей. Из юрты доносится музыка. Настораживаются горы. Вторят музыка серебряные струи Улагана. Плещутся на перекатах.

В ущелье играет красками закат. Бродят в прибрежных кустах, зажигая цветы и камни-самоцветы на перекатах, последние солнечные лучи. Где-то шумит водопад. Кажется, поют камни, трава, лес, река. Это неповторимые краски. Их и зима не сотрет. На смену мягкой летней палитре принесет она с собой новые краски. Суровые и строгие, но не менее волнующие, лягут они на горы новым нарядом. Тогда-то уж не найти здесь тропки. А сейчас, пока видна она, пока не потух закат, поедем вперед. Уже чувствуется дыхание озера. В километре от Туура-Ачыка дно ущелья заполнили камыш, осока, высокие желтоватые метелки какой-то болотной травы. Она тянется к самому седлу, оставляя терпкий запах пылицы. Из ущелья ползет туман. Он родился там, на озере и сползает по долине вниз. Речки уже не видно. Она здесь у каждой кочки, расползается по камышовым зарослям, уходит вправо, к Синеому озеру.

Еще одна стоянка, и вдруг впереди — просвет. Горы расступаются по сторонам. Но озера не видно. Неожиданно дорогу загораживает густой пихтач. Лесная застава.

Тропка лезет на скат каменного обрыва. Врубается в него узеньким кариэзом. Обходит лес. Сквозь деревья блестит вода. Оставляем коней и лезем по чашобе к озеру. Под ногами чавкает вода. Мох проседает, колышется. Идти становится труднее. Делаем из валежника мостки. Пробираемся сквозь последний кустарник — и перед нами водная гладь. Вдруг будто кто срывает огромное покрывало с него — с треском, шумом в воздух поднимаются тысячи уток. Серое покрывало, словно ковер-самолет, кружит над озером и исчезает где-то в камышовых зарослях.

Вода в озере голубая, прозрачная. У самых ног проносятся косяки асманов и хариусов. Рыбы так много, что, приглядевшись, мы замечаем: легкая рябь на воде — это следы несметных рыбных косяков. Затаив дыхание, мы смотрим на водный простор, занявший все ущелье, и немеем от восторга.

Противоположный берег в легкой дымке тумана, крут, обрывист, покрыт густым хвойным лесом. Деревья спускаются к самой воде и, прихорашиваясь, любят своим отражением.

Вот из камыша на середину озера чинно выплывают гагары. Белыми платочками повязаны их шеи. Они настороженно смотрят в нашу сторону, плывут еще немного, потом сворачивают под тень противоположного берега.

Возвращаемся к коням. Выбираем место для стоянки. Разводим костер. Связываем несколько лесин в легкий плотик. Отдельными табунками возвращаются утки.

Поздно вечером запекаем в глине несколько снятых на лету «варнавок» и любимся ночной жизнью Лебединого озера. А где же лебеди? Их нет. А были они когда-нибудь?

— Вон за тем густым пихтачом — стоянка пастушья, — говорит один из наших спутников, алтаец.

**Посылаем «делегацию» на стоянку.** С нетерпением ждем. Делегаты наши не особенно спешат. Похоже, засиделись за чаем. Не вытерпев, идем все на стоянку. Так и есть. Конечно, чай. Нашлось место у очага и для нас. Садимся. Пьем вкусный, немного солоноватый, припахивающий жженым ячменем напиток. Это не обычный чай. Приготавливается он на густом заваре с толканом, жиром и топленым молоком. Немного подсаливается. Сытно и очень вкусно.

Чай, костер и легенда кажутся неотделимыми. Они дополняют друг друга, и мы уходим в мир сказок, в седую старину.

...Когда это было? Очень давно. Как-то повелось так, что алтайцы не трогали пернатых. Многие из стариков до сих пор считают, что кююк (кукушка) — птица-мученица. Когда-то кукушка была женщиной. Жила она бедно, но была очень трудолюбива. Все силы отдавала, чтобы вырастить троих своих детей. А они росли непослушными. И вдруг заболела мать. Просит одного сына, чтобы сходил за дровами, — он не послушал ее. Второго — и тот убежал. Третий тоже отмахнулся от ее просьбы. Заплакала мать от горькой обиды и сказала:

— Лучше б я птицей стала. Улетела бы от вас...

Сказала так в отчаянии и вдруг превратилась в кукушку, вспорхнула и полетела. Один из сыновей схватил ее за ногу. В руках его остался чебот, а кукушка улетела. Так и живет она: одна нога черная, в обуви, другая — разутая, розовая. И яйца подкладывает в гнезда других птиц, чтобы самой не выкармливать птенцов. Но прислушайтесь к ее крику. Порой столько тоски в звучном голосе кукушки.

...Потрескивает костер. Из пастушьего аила в открытую дверь заглядывает сказочная ночь. Где-то у озера глухо ухнула выпь.

— Плачет, — прислушался хозяин стоянки и вздохнул. — Говорят старые люди, что это сама лебедь плачет.

И снова над аилом зажглись таинственные огни сказки. Это была легенда о лебеди. Никто не помнит, в какие годы случилось такое. Поднялся в горах сильный ураган. Такой сильный, что выплескивал озера, вспять поворачивал реки. Рушились скалы. Падал лес. Выплеснул на самые вершины гор ураган и Кёлюкол, Лебединое озеро. Взлетели лебеди. Не рассчитал один из них — да и трудно было это сделать, вокруг мрак стоял, пыль, летели отовсюду камни, — подхватило того лебедя и ударило о скалу, только перья белые закружились. Схватила одно перо подруга его и стала летать вокруг, не в силах оторваться от того страшного места. Наутро стих ураган. И все увидели, как над сухим озером с пером в клюве кружилась одинокая лебедь.

Она все кружила, кружила и не кричала, а стонала от горя. Целый месяц летала. Обессилев, упала и разбилась.

Выпало перо из клюва, взлетело кверху, а потом стрелой вонзилось в землю, пробило ее, и забурлил в том месте ключ. Он снова наполнил ущелье водой и вернул ему озеро... А лебедь до сих пор стонет. Не может она забыть своего друга.

Лебединое озеро... Мы прощаемся с гостеприимным пастухом и молча идем к берегу. Посредине озера рябит лунная дорожка. Она похожа на лебяжий пух.

#### Долина водопадов

К ней путь лежит через Кара-Кыр, что значит Черная грива. Перевал действительно похож со стороны Лебединого озера на лохматую конскую гриву. Сначала тропка разрезает перевал поперек, заметно поднимаясь выше и выше, а у самой вершины идет свечой вверх и ныряет в черную пасть густого кедрача. Он-то и делает похожим на гриву этот крутой перевал.

Кара-Кыр добр. Он гостеприимно приоткрыл свою кладовую: тяжелые лапы кедрача густо увешаны ореховыми шишками. Говорят, здесь в любой год неплохне урожаи кедрового ореха.

Место глухое, таежное, но тайга не давит. Ощущение такое, будто едешь под самыми облаками. И ждешь чего-то необычного. Ждешь, вглядываешься в редкие просветы между деревьями.

А это необычное уже подкарауливало нас и было, оказывается, совсем рядом. Кто-то заметил белку. Заулюлюкал, захлопал в ладоши. Лошади остановились, потянулись к траве.

И тут на глазах у всех из-за кучи валежника взвилось в воздух пятнистое темно-серое животное. Делая большие прыжки, оно молнией врезалось в гущу леса и исчезло.

Бег вспугнутого животного мягок, красив. Косуля? Но эти большие клыки, свисающие с верхней челюсти... Парнокопытное с клыками?

Чем еще, каким чудом поразит воображение Кара-Кыр? Оно еще будет там, впереди. До него надо преодолеть этот затяжной перевал. Пока забежим вперед, в Чодро, присядем у костра и послушаем, что скажет о животном местный охотник — знаток горной фауны.

276-108

Это кабарга. Она легка и быстра, как косуля. И мясо ее очень вкусное. И клыки есть. С какого века, от какого доисторического животного носит она этот не совсем удобный атрибут несовершенного прошлого? Кто знает. Когда-то, возможно, они, эти клыки, были страшным оружием, хорошим помощником, а теперь стали обузой. Да и уродуют они изящную кабаргу. Мешают ей. Питается кабарга лишайником, потому и любит северные склоны, серые, темные заросли.

Когда-то клыки кабарги и бабки из ее ног ценились. В ясак алтайца вместе с белкой и соболями записывали и 50 бабок кабарги.

...Кедрач провожает до широкой поляны, покрытой цветами, карликовой березкой и густой травой. Дальше не идет. Дальше — владения лиственниц. Высокие, стройные, они толпятся у опушки, горделиво поглядывая на отставший, добродушный с виду, широковатый в плечах кедрач. Поляна — граница их владений. А на этой поляне, в дальнем углу ее, неожиданно блеснуло мертвым стеклянным оком высокогорное озеро. Странно как-то и непривычно видеть озеро под самыми облаками. А оно есть. Тропа идет по его вязкому берегу, потом круто сворачивает в лес и вдруг начинает падать. Навстречу заструился теплый ветерок. Картина неожиданно изменилась. Среди однообразных гладкоствольных лиственниц появляются кудрявые березки. В распадках зашумела листвой осина. Она-то так резко и изменила пейзаж. Стало светлее. Мягче, ласковей краски. Теперь уже не оторвать глаз от тропы. Что откроет она перед нами, какой порадует неожиданностью?

Пологий спуск длится несколько километров. Все гуще и выше трава. Богаче зелень. Вот качнулась у самого седла тугая кисть рябины и скрылась за листвой.

С крутояра высотой почти две тысячи метров открылась Чолушманская долина с шумом водопадов, пышной зеленью и ревом реки.

Вот оно, алтайское чудо!

В горах Алтая часто встречаются контрасты и сюрпризы. Здесь каждый перевал имеет свой микроклимат, свою флору и фауну.

У Акташ-горы мы видели мертвые озера. Красные скалы. Суровые заснеженные голыцы. В Кош-Агаче — бескрайние просторы Чуйской каменной полупустыни.



И вдруг напоминающий субтропички уголок — Чолушманская долина!

Кипит вокруг зеленое чудо. В глубоком распадке беснуется Чолушман. Свешивая со скал серебряные косы, горят в перламутре радуг многочисленные водопады. Их не один десяток по всей долине от истока до Телецкого озера. Пять из них насчитаете сразу же в окрестностях Чодро.

Эти вот домики, расположенные на правом берегу Чолушмана в густом черемушнике, и есть Чодринское лесничество. Лесники-егери народ бывалый, таежный, любят костер, свежую уху и, конечно, всякие интересные истории.

Со скучающим видом егерь может обронить к слову:

— Тут, против Горелого островка на Чолушмане, видать, яму выворотило за ночь. Поехал, а коня и занесло в нее. Как на грех, подпруга лопнула... Надо выше брать.— И замолчит, станет раскуривать трубку, к костру за угольком потянется. И вы обратите внимание на его мокрую «робу» — от нее валит пар, и уже без труда дорисуете начатую им картину переправы через бурную, опасную реку. Лопнет подпруга на самой быстрине, значит, быть всаднику под конем. Как же он выбрался? Тут, может быть, кто-нибудь из его товарищей спросит, тоже так, между прочим:

— Седло-то хоть спас?— В глазах легкая искорка озабоченности.

— Выволок... У черного пня,— нехотя отзовется пострадавший.

У черного пня — это значит на километр ниже переправы. И все знают о том, и никого не удивляет мужество и бесстрашие товарища. Как он тысячу метров проплыл по кипящим бурунам и камням, лоя выскользнувшее изпод него седло? Подробности никого не интересуют. Так должно. С каждым бывало такое. А без седла здесь трудно. Обезыды большие. Они измеряются сутками. Тайга на горах, в долинах. За лесом надо следить. Оберегать его от пожара. В ночь-полночь, если требует дело, егерь седлает коня и едет в темную тайгу по невидимым тропам, по приметам, известным ему одному да, может быть, его бывалому коню.

Бесстрашные люди.

...Искрит костер. Где-то рядом, за черемуховой за-

рослью, то затихая на какой-то миг, то вдруг усиливая шум, бьется острой струей, дробясь в пыль, о каменные торосы, водопад. Бурлит над костром, вздрагивает на проволочной подвеске черное от копоти ведро. Вокруг — аромат ухи.

— Ты хоть белочку-то выпотрошил из тайменя, Илья? — спросит неожиданно кашевара один из егерей.

Кашевар молча снимает пробу, осторожно схлебывает с деревянной ложки каленую жижицу. Улыбается одними глазами.

— А зачем? Вкуснее будет.

— Ну и везет же Илье, — качает головой егерь. — Когда-нибудь твои таймени баранчиков будут заглатывать с берегов.

— Будут, — соглашается Илья, расправляя усы. — Разве обвинит меня в том Егор? — Егерь смотрит в сторону чабана, который пришел на костер с ближней стоянки.

Тут уж рыбачья история. Илья поймал крупного тайменя, в животе которого обнаружил еще не разложившуюся белочку. Видно, переплывала она Чолушман и попала на ужин тайменю.

...Горит, искрит костер. Одна за другой наизываются в легкой дымке то егерские, то охотничьи истории. И костер полыхает до рассвета, и эти истории становятся неповторимой легендой.

...Отвязывайте коней и смело спускайтесь вниз. Сверкают на солнце рыбьей чешуей буруны перекатов на реке. Туда ваш путь. Зовут, извиваясь разноцветной радугой, водопады. А над всей долиной — птичий грай и солнце. Щедрое, доброе чолушманское солнце.

## Голубая падь

Вниз  
по Чолушману

У Телецкого озера много имен. Большая слава. Его ежегодно атакуют тысячи туристов — любителей костра и солнца. Алтайцы называют его Алтын-Кёлем. Золотое озеро. А в Чодро один из егерей назвал его Голубой падью.

— Шесть веревок связывали по пятьдесят метров каждую, — говорит он, — и не могли достать дна.

Голубая падь... Туда держит путь через каменные завалы Чолушман. За ним не угнаться. Он бежит, распустив голубую гриву, будто марал во время гона. Трубит, трубит. Зовет кого-то. Стекают в расщелину водопады, распыляясь мириадами брызг. На восходе солнца горят они диковинными самоцветами. Кажется, полудужья радуг впаяны искусным мастером в прибрежные серые скалы. Их трепетное сияние еще больше оживляет и украшает эту живописную долину. Если б водопады светились россыпью брызг! Сколько было бы чудесных лампочек. А в лунную ночь так и бывает.

...Узкая тропа виляет у каждого валуна. Справа — Чолушман. Рычит, сердито отплеивается. Редко ласков. Там, где вдруг мелькнет светлина, — будто лужайка в лесу. Тут он крутит омуты. Блеснет неожиданной голубизной до самого дна, соберет в кружаке разный мусор и на первом же перекате разбрасает его по сторонам.

За черемуховыми зарослями остался Чодро, небольшой поселок лесников. Рыбацкие байки. Охотничьи приключения. А еще дальше — Тилу-Кель. Теплое озеро. Вот от него гонцом к Телецкому и спешит Чолушман. По ней Тилу-Кель снабжает Золотое озеро отличным хариусом, тайменем, а главное — чудесной водой. Наш добровольный проводник Гриша Акчин, чабан из-под Чодро, немного философ, немного поэт, говорит:

— Хоть и завхозом работает Чолушман у двух сестер, а воду его в золотых бы колодцах держать. Заметили? Пьешь — не напьешься.

Гриша редко встречается с людьми с «большой земли». С соседями-чодринцами давно все переговорено. И когда собираются люди вечерами, больше поют, чем говорят. Песня делает каждого добрее. А насчет воды чолушманской он прав.

О чем-то вспомнив, оборачивается в седле и кричит: — А почему человек сам себе на горло наступает? — И, видя наше недоумение, обнажает в улыбке ровный ряд зубов. — Насчет воды я... Небось видели, какими стали малые речки? Ни рыбы поймать, ни напиться.

Если бы каждый чувствовал себя хозяином на земле... Прав Гриша.

— Я так думаю,— продолжал он, свесившись с седла,— человек должен помочь земле дольше не стариться. Верно говорю?

Чолушман глушил разговор. Вмешивался, грохотал так, что в ушах дрожали перепонки. Гриша махнул рукой и погнал пегого вислоухого коня меж огромных серых валунов. Вскоре всадника не стало видно, только из-за камней смешно кидалась из стороны в сторону рыжая кисточка его меховой шапки.

Часа три вела еле приметная тропа меж валунов, потом полезла на крутояр, где-то там, на гребне его, зеленела лесная застава. На самой скалистой кромке отвесного берега тихо покачивались ели. Но до них высоко. Кажется, невозможно подняться на конях к этой зеленой заставе. С надеждой следим за Гришей. Неожиданно стена рассекается зарослями черемухи, осины и тала. Ущелье. Оттуда вдруг изогнутым мечом чистейшего серебра повисает в воздухе струя воды. Шума ее не слышно — забивает Чолушман. Но этот живой меч то упруго сгибается в середине, то опадает до прямой нитки.

— Дышит Тайбылky,— кивает на горный ручей Гриша, отпустив коня. Тот припадает к траве. Тропа, извиваясь, подползает к устью Тайбылky. Мы стоим у подножья стены и, задрвав головы, смотрим в высоту.

— Это он с испугу,— смеется Гриша.— Никогда с такой кручи не прыгал. Вот и шарахается назад.

Похоже. И здорово.

— А может, не столько высоты испугался, сколько этого лохматого зверя,— кивает кто-то на Чолушман.

В этом месте он весь в бурунах. Волочет всякую мешанину: небольшие деревца с корнями, прихваченные где-то по пути, по каменному ложу его грохочут валуны. Вот столкнулись они с подводной скалой лоб в лоб. Голубая грива воды взметнулась кверху. Скала и не покачнулась. Приблудный валун обрел себе новое место. Теперь, кажется, навечно. Пока не подточит вода скалу.

— Работяга,— заключает Гриша.— И куда он летит, как сумасшедший? Силница-то! Сколько бы моторов мог крутить.

Мы стоим в глубокой впадине. И такое впечатление, будто находишься на дне голубой реки. Где-то там, на высоком берегу, слева, лес, долины, а в них — селения. Поднимешься по тропе кверху, и сердце начнет отсчиты-

вать другие деления. И человек чувствует их. Высота. От грохота становится больно в ушах.

Мы с надеждой смотрим на Гришу. А он в свою очередь — на коней. Надо подождать. Пусть подкрепятся перед трудным подъемом. Там, в Чодро, мы спускались вниз лесом. Здесь перед нами почти отвесная стена. Осыпи. Редкий кустарник. Поможет, очевидно, овраг Тайбыллы.

— Верно, — кивает Гриша и раздает всем мягкие сырчики. Мы с удовольствием едим кислотоватый спрессованный творог из овечьего молока. — Потом — вверх по речушке и вправо, на берег оврага. Оттуда я поверну обратно.

...Часа два длится подъем. Здесь, на высоте птичьего полета, уже не слышится грохот Чолушмана. Голубая лента, прорванная тут и там рифами, — будто застывшая акварель на полотне. Мы еще с ним встретимся. Там. Пониже. Ближе к Телецкому.

А речушка Тайбыллы, которая бежит по дну глубокого оврага, не так уж безобидна, как казалась нам отсюда, снизу. Кони с трудом переходят ее. У самого обрыва — загородка из ивовых прутьев. Ячейки этой деревянной сети очень мелки. Зачем она здесь?

Гриша останавливает коня и уходит к этой загородке. Ждем, отдыхая в густом черемушнике. Наконец он появляется. На лице его широкоскулом улыбка. Доволен.

— Третий год наблюдаю за рыбой. Запустил сюда мальков харнуса. Добыл в Чолушмане и поднял сюда сотни две, — рассказывает он. — Сразу же эту плетенку сделал. Упадут ведь, если начнут скатываться. В прошлом году находил несколько мертвых. Нынче нет. Научились, видно, бороться за свою жизнь. Ушли кверху.

Оказывается, речушка была «мертвой». Даже османы не водились, местная, очень костистая и невкусная рыбешка.

— Я и решил заселить. Теперь вроде бы и жизнь началась в ней, веселее как-то.

Вот он какой, этот парень. Чабан из Чодро. Хозяин земли.

— И не подошли? — сомневается кто-то.

Гриша предлагает проехать выше по речушке. Облюбовываем пережат. Рядом — омуток. Чистый. Светлый. Бросаем хлебные крошки. Напряженно смотрим. Гриша

ловит в траве кузнечиков. Бросает их. И вдруг, блеснув серебряной чешуйкой, взлетает рыбешка, хватает приманку и тут же исчезает.

— Харнус,— улыбается Гриша.— Живет.

Он рад. И мы все рады, что встретились с таким человеком. Добрая улыбка и какой-то спокойный блеск его глаз еще долго помнятся почему-то. Так бывает, когда вдруг обретешь что-то очень дорогое на память. И уже позднее, в Балыктуюле, на центральной усадьбе совхоза, где вырос Акчин, мы узнали и другого Гришу.

...Это было в одну из тяжелых зим. Стоял месяц чаган<sup>1</sup>. Лютый, суровый месяц, а Чолушманскую падь все обходили где-то стороной снежные заряды. Бесснежной зиме всегда рады пастухи, если это не коварство. Тебенева<sup>2</sup> в малоснежье легко. И чабану легко, и отаре. А в ту зиму трудно было понять, когда кончилась осень и когда началась зима. Дождь лил даже в канун Нового года. Потом ударили морозы. Земля будто броня стала. Перемерзли ручьи. Огромными хрустальными сосульками повисли с гольцов худосочные водопады. Ушел под лед Чолушман, прикрывшись острыми торосами. Долго билась могучая река. И эти торосы изо льда казались теперь остатками панцирных щитов, кольчуг и шлемов, покореженных в битве с великаном и брошенных на поле боя. Трофеи мороза. Выбросил их на поверхность Чолушман. Ушел под лед непобежденным.

Гриша попал в ловушку. Парень не растерялся: рубил тал, мелкий осинник, еловые ветки, все это возил на коне в отару. Потом хворост приходилось возить все дальше и дальше. Было у него как НЗ несколько стожков сена. До них добрался, рассудил: «Труднее момента, пожалуй, и не будет». Скормил два стожка, а потепление не наступает. Страшно стало Грише. Впервые так испугался за отару.

— Погибнет. Надо уходить наверх из этой пади. Капкан.

Вокруг на десятки километров ни одной пастушьей стоянки. Его — самая дальняя. Там, под Тайбылкы, еще есть одна. Толтоковой Марии Васильевны. У нее козы. Их и лед не держит. Лезут на скалы. Обьедают мелкий кустарник.

<sup>1</sup> Чаган — январь (алт.).

<sup>2</sup> Тебенева — зимняя пастьба (алт.).

Как-то вечером поскакал в Чодро, к лесникам. У них телефон. Дозвонился до Балыктуюля.

— Звонит,— рассказывает директор совхоза Арсентий Васильевич Санаа,— а сам будто извинения просит. Обидно парню, что пришлось за помощью обратиться. Пожурил его. У самого давно тревога была за эту Чолушманскую падь. Обледенеют склоны, тогда хоть вертолет вызывай — не поднять наверх отару. Случилось самое страшное. Уж если Гриша решился звонить, значит, положение отчаянное.

Объявил Санаа «готовность номер один» в селе. Стали думать, что делать. Решили: пусть Гриша пробьется с отарой до Тайбылки. Позвонили ему. Подумал. Согласился. Послал до спуска председатель человек десять верховых. С сеном, кирками, топорами. От Чодро до Тайбылки километров восемнадцать, не больше. Летом — два часа езды по тропе. А Гришу ждали... пять суток. Пять суток горел костер на гребне пади. Дежурили у него посланцы Санаа. Не выдержали, послали в контору гонца.

— Пропал Гриша... А спуститься вниз невозможно.

Из Чодро лесничий сообщил:

— Увел Гриша отару. Дня три, как увел. И назад не возвращался.

— Что же он в это время делал? Выжидал?

— Возил по тропе сено. Навяжет две охалки, перекинет через седло, коня за повод ведет. В одном месте небольшой навильник сбросит, в другом, и так до самого увала,— вспоминает Арсентий Васильевич.— Верхом перетаскать стожок — это не каждый сможет. Подчистил остожье — остатками покормил овец на ночь, а утром двинулся в путь... Первый день и пяти километров не прошел. В глухом осиннике заночевал. На пятые сутки подошел к подножию Тайбылки. Увидел наверху костер, обрадовался. Сено, сброшенное сверху, раскидал отаре, а сам, вооружившись топором, полез по тропе. Идет, скальвает лед. А на курумнике он тонкий, как пленка. Местами, где застоялась вода, опасно. Тут и рубил. А до устья ручья ребята тропы уже проделали.

Утром привязал за рога к седлу на длинную веревку вожака-козла. Потянул на тропу. Поупирался, пошел. А когда за ним потянулась отара, отвязал. Почти весь день поднималась отара. Когда на гребень вышла по-

следняя овца, ребята бросились к Грише и хотели его качать. Гриша сидел в седле и... спал. Все удивились.

— Сейчас же, минуту назад подбадривал еще отару. И вдруг!..

Два всадника пристроились справа и слева от Гриши, третий взял повод его коня. Так и доехали до ближайшей стоянки. А там уложили в постель.

### Обелиск

Хорошими людьми и легендами богата Чолушманская долина. Но что значат эти легенды давно минувших дней против тех событий, которые разыгрались на берегах могучей реки глубокой осенью 1921 года. О них вам не расскажет Чолушман. И камни ничего не расскажут. И даже скромный обелиск, построенный на его правом берегу, не поведаст всех тайн тех бурных и страшных дней, когда горстка отважных коммунаров первой в Горном Алтае коммуны «Освобожденный труд» грудью вставала на защиту завоеваний Октября против белобандитов. Вот эти камни. Под ногой коня. Обомшелые. Седые. Может, на крови смельчаков вырос лишайник, что курчавится с боков серых безгласных валунов? Свистит острец. Что-то зменное мнится в этом свисте. Может, этой же тропой в осеннюю почную коловерть, когда крутой берег реки секли косые холодные дожди вперемешку со снегом, пробирался монах с очередным донесением к предводителю бандитской ватаги? Гадючий шепот о силах коммунаров, об их секретных заставах, о новых решениях — и в пода-рок кусок баранины...

Может, этой же тропой в ноябрьскую ненастную ночь шел посланник коммунаров, отважный парнишка Павел Волков, сын погибшего первого председателя коммуны, чтобы вызвать на помощь погранотряд?

Он был схвачен бандитами. Его привязали к седлу и волоком тащили по этим острым камням... С какого места? Откуда? Где, под каким камнем подкараулили тебя враги, Павел Волков? Что ты увидел в последний миг? Чолушман? Глаза матери? А может, тебе почудилась на какое-то мгновение песня девчонки, которую ты еще не успел полюбить?

Сначала отец... Потом ты... Потом мать. А с нею — вся партийная ячейка коммуны. Погибли. Не сдались.

...Вьется тропа. Каменная, безжизненная. Глазастая, но немая. А тогда, в двадцать первом, глубокой осенней ночью бандиты ворвались в коммуну, и над Чолушманом загудели монастырские колокола. Они пели осанну «освободителям». Гудели победно и торжественно колокола. Кровью коммунарских детишек была залита паперть освященного храма. Колокола победно гудели. Монахи разыскали свои черные рясы. И вот они, потупив взор, шепча молитвы, уже думают справлять свои требы. Идут, вылазят из подполья, словно пауки. Обходят детские трупы, лужи крови. Эту кровь Христос на себя возьмет. Пусть радуются, что погибли во младенчестве, не натворив, как их отцы и матери, греховых дел. Бог правду видит. Кто вас просил в божью обитель? Сами пришли с мандатом от сатанинской власти. Кесарю — кесарево. Гудят, гудят победно и торжественно колокола... Почти полмесяца трезвонят, а потом приходит возмездие.

...Свистит острец. Под копытами коней высекаются искры. Справа от тропы Чолушман уже ловит первые звезды. А может, это сплавляются харнусы. Здесь на крутом гребне берега еще светло. В разрывах между елей горят розовые полоски зарн. Крутой спуск. Катуярык. Каменная громада горы опускается над Чолушманом, грозясь раздавить его. Река шарахается вправо и, пробив узкую щель, вырывается вперед. Здесь она наваливается на вас оглушительным победным ревом и грохотом. За Катуярыком левый берег садится все ниже и ниже. И река, раздавшись вширь, успокаивается, будто прихорашиваясь: ленивее становится ее волна, спокойней бег. Открываются лесные елани. Реже — леса. Наверное, здесь коммунары облюбовывали сенокосы. Мечтали когда-нибудь поднять эту землю.

Костер. Кажется, пастуший. Нет. Не видно ни скота, ни загона. Небольшой шалаш. А между камней — высокий черный таган. Молодые парни. Их шестеро.

— Ведем дорогу, — говорит один из них, невысокого роста, энергичный крепыш. — До Катуярыка достать бы. А там Балыктуюль навстречу идет. Сколько всего? Километров сто двадцать...

Да, они из совхоза «Чолушманский». Чолушманская коммуна? Там она и была, где сейчас усадьба совхоза. Это километров пятьдесят ниже. Там есть брод — мы его называем Коммунарским бродом.

— Почему?

— По нему коммунары скот перегоняли, когда шли сюда лесом и горами из Успенки.

Успенка — это нынешняя Чоя. Там организовалась коммуна «Освобожденный труд». Оттуда коммунары вышли на новые земли, к Чолушману. Этот переход за триста километров от Успенки по горам, таежным тропам — героическая эпопея.

Измученные, почти без куска хлеба, вышли они июньским вечером к Чолушману. Может быть, вот так же запалили костры, наудили рыбы, а может быть, дорогой удалось подстрелить марала или козла. Сидели они у костра и, наверное, мечтали. «Не робейте, парни, — говорил оставшийся после гибели председателя Волкова коммунист Попов. — Тут край благодатный. Уезд отдал нам этот кусок не зря. Вытряхнем долгогривых. А у них в монастыре даже сад фруктовый есть. Не поленимся — завернем тут такие дела. С первым же урожаем всем девчонкам справим обновы: полушалки, платья... И вас не обидим, парни. Обосноваться бы. Корни пустить поглубже. А впереди такая жизнь открывается...»

Да. Корни остались. И какие! Силу их не раз пробоvalи на своей шкуре враги.

Тогда Попов говорил (сохранилось это в архивных документах, в частности в протоколах собраний партячейки коммуны):

«Вы знаете, товарищи, какое время мы открываем!.. Наши дети, может, даже сено стоговать будут не вручную. Будет, я уверен, такое время. Весь трудовой народ сам начал строить свою жизнь. А он-то для себя постарается. Даже вам, бабы, облегчение выпадет: коров станут машиннами доить...»

Конечно, это прервал смех. Не злой. Добродушный. Так смеются, когда верят, но когда почти невозможно удержать улыбки. Механизация-то пока вся на глазах: плуг да борона. И та деревянная.

Теперь в селе Чолушман — животноводческий совхоз. А вот и молодые его рабочие. Дорожники. Бригадир Толя Кошев, шуруя в костре палкой, делится своими мыслями.

— Отряд-то наш небольшой, — говорит он, — бульдозер да трактор. К нам ведь трудно технику доставлять. Через Телецкое надо, вкружную. Только неделю назад мы оборудовали последнюю электродойку во втором гурте.

Нужна дорога. Совхоз задыхается без нее. Дорстрой почему-то считает, что это межсовхозная дорога. А он мог бы на вертолетах перебросить сюда всю технику. У них такие сложные механизмы появились!— Он оглядывает парней. Те кивают ему согласно, но замечают тут же:

— Освоили б без них. Дали б только...

Грамотные парни, и разговор квалифицированных специалистов.

Дорога. А тогда, в холодную ноябрьскую ночь, где-то по-над берегом Чолушмана, может быть, вот по той тропе, извивающейся меж камней, торопился, бежал с донесением на далекую пограничную заставу пятнадцатилетний коммунар Павлик Волков. В коммуну одно за другим поступали сведения о том, что по глухим уремам скапливаются бандитские ватажки и ждут удобного момента, чтобы напасть на коммунаров. Находили подметные письма. Злобные, дышащие звериной ненавистью к коммунарам и особенно к их вожакам. Трудное это было время. Тревожное. В коммуне — с десятков ружей и в обрез боеприпасов. И вот решили послать добровольцев на ближайшую погранзаставу. А до нее, почитай, двести верст.

Всю ночь бушевала вьюга. Гудели ущелья. Ломал ледяные забереги Чолушман. Не поддавался морозу. А снег летел, летел огромными белыми звездами. Хрусткий. Жесткий. Припаивался к камням. Душил свирепую горную реку. Мороз на лету схватывал брызги. Стеклали они и, словно бусы, падали в воду.

Ушел Павлик в холодом дышащее ущелье. Ушел... А на берегу, схватившись за грудь, долго еще стояла укутанная стареньким одеялом, поникшая, одинокая женщина. Если бы знать... Но кому дано это?

А Павлик уходил по прибрежной тропе все выше, выше.

Вот обогнул один притор, другой. Скользко. Трудно идти. В лицо бьет снежная пурга. Старенькую, десятки раз латанную шубенку продувает насквозь.

— Выдюжу... выдюжу... В ночь-то надо бы побольше пройти, — шептал посиневшими губами. И чудилось мальчишке: сзади смотрит на него вся коммуна. Смотрит и думает: выстоит или нет в такую непогоду? Хватит ли у мальчонки силы пробраться? И радостно от этой думки становится. Будто крылья вырастают за плечами

— Выдюжу... выдюжу... Комсомольцы небось и не на такое ходили. Отец говорил. Конечно, коня бы и наган. Или хотя бы шашку.— Подбадривает себя, подстегивает.

Идет мальчишка по глухому ущелью навстречу опасности. До Катуюрыка бы добраться до рассвета. Но где там. Столько верст!.. Что это? Цокот копыт. Пофыркивающие лошадей. Камни скатываются в воду. Глухой говор. Павлик падает и ползет в щель меж камней. Сердце глухо стучит.

— Опоздал... Опоздал... Почему не вчера, не раньше послали?— обожгла мысль.

Банда скрылась в ночи. С тоской и болью в сердце смотрел ей вслед Павлик. Первой мыслью было закричать так, чтобы слышали там, в коммуне. Но ведь столько уже прошел. Бежит Павел вперед, а слезы ручьем по щекам. Обидно. Ноги стали подкашиваться. Сел на камень. Не может отдышаться. Вдруг возле устья реки раздалось глухие удары. Будто кто по железу стучит.

— Наши, наши бьются. Как они? А мне столько еще идти...

Бежит, уже не остерегается Павлик. Вот и притор новый. За ним, кажется, лес. Там легче. Не торопись, осмотрись вокруг, гонец! Сверни куда-нибудь в завал из камней. Обойди этот нависший над рекой притор... Если бы знать...

Выбежал на чистину. Под скалой — костер. Слепил его. Проклятая собака выскочила навстречу. Хотел назад, а уже сзади властный окрик:

— Стой!

И лягз затвора. Замер. Собрался в тугой узел. Значит, не все ушли на коммуну. Эти ждут черед. У костра мужик, заросший рыжей бородой. Атаман, видать. На плечи накинута козья доха. Вперекрест колушка патроны, шашка. Достал из котла большой кусок мяса. Зачавкал, молча поглядывая на мальчонку. Павлик осмотрелся. Избушка рядом. У скалы легкий навес для коней. Зашемило сердце. Куда уйдешь теперь? С тоской посмотрел на костер...

Грубый удар в плечо. Упал к костру.

— Во, видал, гость пожаловал! Как с неба свалился! — ржут бандиты.— Коммунарчик? А ну, карманы?

— Нету их...

- Куда путь держишь?
- Убег я из коммуны.
- Чего так? Ай не сладко?

— Не сладко. Голодно стало. По деревням решил идти. Может, возьмет кто. До лета бы прокормиться.

И снова гогот. Недоверчивый, ехидный. Злой. В самое сердце колет. Не уйти. Нет хода от смерти... А вот этот, чавкающий, видно, главный бандюга. Может, он и отца убил. Теперь остальных уничтожить хочет. Огляделся: сзади Чолушман ревет. Впереди по бокам скалы. Куда уйдешь?

— Рассказывай,— потребовал атаман.— Правду говори.

Спокоен атаман. Сильный. Ни слова, значит, не поверил.

— Я же сказал...

— Когда?— удивился бандит.— Не слышал.

И стало противно врать этой сволочи. Прикидываться дурачком. Пусть знает, кто такие коммунары.

— А чего тебе говорить? Разве сам не знаешь?— сказал с вызовом Павлик и смело посмотрел в глубокие щелки-глаза атамана.

— Во. Это по мне.

Павлик подошел ближе к костру, нагнулся над ним, руки вытянул. Закоченели на ветру. Вздохнул. Как бы хорошо так-то вот у мирного костра посидеть. А руки не чувствуют жара. И холода нет. Вот эта головня хороша... А там — река... Может...

— Я навстречу чоновскому отряду вышел. Ну да и без меня найдут дорогу.

Он схватил головню, быстро выпрямился и ударил ею по голове атамана. Размахнулся влево — бандита ближнего стукнул и побежал к реке. Искры, искры вокруг... Но так длинен этот десяток саженей. Конца не видно... Что-то толкнуло в спину, отбросило на камни.

Гудел Чолушман. Грозно. Мстительно. Где-то там, на берегу, укрытая стареньким одеялом осталась мать... Искры вокруг. Откуда? Вот и они погасли. Издалека вырвалась метелицей песня отца: «Смело мы в бой пойдем... за власть Советов», и песня ушла. Над молодым коммунарком опустилась ночь.

...Гривастый, яростный шумит костер. Вокруг него — молодые дорожники. Спокойные, сильные парни.

А на околице села — обелиск погибшим коммунарам. Живые цветы. Тропа, по которой шел Павлик Волков, становится дорогой. По ней пойдут к новым перевалам потомки первых коммунаров. Этого требует жизнь.

...Не доходя до Телецкого, рассорился Чолушман с теми речушками, что впадали в него по дороге, — разделился на три больших рукава, отгородился валунами и галькой и так влетел в Голубую падь.

Озеро-улыбка.  
Озеро-зверь.  
Озеро-легенда...

В тот день, ясный, солнечный, оно просвечивалось до дна. Смотришь с крутого берега вниз, а воды его во всей своей хрустальной толще на глазах раскалываются на огромные голубые плиты. Будто солнечный луч отрезает глыбы, проникая в глубину. А на гранях мраморных плит — радужные солнечные искры. Но вот набежало облако, дохнуло прохладной тенью, и в тот же миг они исчезли, потухли в кромешной глубине.

Суровые отроги гор подсвечиваются голубизной.

— Чертовски трудно снимать, — жалуется работник Барнаульской студии телевидения Миша Ефременко, — стреляет в аппарат.

Все с недоумением смотрят на него.

— Кто?

— И синь эта, какая-то прямо-таки хрустальная, стреляет, — поясняет он, суетливо отыскивая на берегу «прицельные позиции». — И вот эти солнечные блики тоже стреляют, — продолжает он бормотать.

Пострекотав аппаратом в небольшом полудужье вокруг себя, он успокаивается и ищет новую цель.

Откуда-то из-за горы грациозно, будто лебедь, выплывает белоснежный теплоходик. Читаем издали название «Алмаз».

Режет голубое стекло «Алмаз», оставляя позади себя белую ниточку-трещину, а она тут же, как живая, заштопывается крутыми бурунчиками, образуя серебристый шов. На палубе — стайка ребятнишек в красных галстуках.

— Республика «Медвежонок», — кивает в сторону ребят Миша. — По тропам коммунаров пойдут.

«Медвежонком» зовут пионерский туристический лагерь, расположенный у истоков Бии, в котором каждое лето бывает до пятисот ребят. У этой республики своя «конституция», «законы». Они содействуют закалке характера, волн, развивают смекалку...

А на каменной террасе у самой воды под кронами яблонь стоит высокий старик. Он смотрит на «Алмаз». О чем подумалось ему в этот час? Может, о том, как сорок лет назад на уютной лодчонке переправил он свою многочисленную семью к этим каменным уступам, где не было ни зелени, ни этих фруктовых деревьев? На этой же лодчонке он стал возить с другого берега перегонной и заложил сад. Теперь этот сад есть. Он украсил Голубую падь. Яблони цветут каждую весну. И дают хорошие плоды.

Смирнов. Это он. Это его фактория на каменных уступах. Человек победил природу. Сделал ее богаче. Счастье трудных дорог. Кто идет в трудный путь, тот не рассчитывает на легкую победу. И он не рассчитывал, этот упрямый одиночка.

Теплоход подает протяжные сигналы. Капитан подносит руку к козырьку форменной фуражки, отдавая тем самым дань мужеству Смирнова.

Говорят, тут, в высохших руслах горных речушек немало золота. Смирнов не искал его. Он сам озолотил берега сурового озера. Как в сказке, как вызов окружающей дикой природе на камнях зацвел сад.

Вспомнилась алтайская легенда.

Жил в этих окрестностях бедный охотник Анчи. Год выдался трудный. Зимой было много снега, весной — воды. Падал от бескормицы скот. Все звери разбежались по тайге. Зайца — и того не подстрелишь. Часто с пустыми арчимаками возвращался Анчи к своему бедному аилу. А у его порога семь пар голодных ребячьих глаз. Семь ртов. Не дойдет до своего родного очага Анчи, посмотрит издали на ребят и повернет обратно в лес. Как-то ему подвалило счастье: убил кабаргу. Обрадовался. Взвалил ее на плечи и понес домой. Идет, шатаясь от усталости. Присесть нигде не хочет: дома ждут. В одном месте запнулся о камень, упал. Отлежался немного и снова в путь собрался. Стал поднимать кабаргу с земли, а из-под нее — какой-то желтый камень в глаза ярким светом ударил. «Что бы это могло быть?» — удивился охотник. С трудом поднял его. «Такой маленький, а весит,

как большой»,— продолжал удивляться Анчи, рассматривая необычную находку. И вдруг вспомнил... В далеком детстве еще это было. У них в анле валялся небольшой, меньше детского кулачка, такой же желтый камень. Его так начистили ребятишки, что он даже ночью светился. Как-то заехал к ним темичи<sup>1</sup>. Высокий, жирный и злой, как черт. Перешагнул порог анла и заорал на отца:

— Теперь ты, Елдон, не отвертись от меня. Ячмень брал у бая на толкан? Брал. Телку брал? А где твои соболя? Пятьдесят шкурок за тобой. Почему не несешь?

Отец побледнел. Испугался. Дрожащим голосом стал просить темичи:

— Повремени немного. Охота еще только началась. Отдам. Клянусь своими детьми, отдам.

— Плохой ты человек, Елдон,— пожурил отца темичи.— Врешь и врешь. Разве можно тебе верить? Нет. Хватит. Уведу твою старшую дочь. Пусть работает у бая по хозяйству, пока долг не отдашь...

Оймок услышала это, заплакала. Отец развел руками, тяжело вздохнул.

— Вот так,— сказал темичи, вставая с чурки, на которой сидел.— Это последнее слово бая...

И вдруг увидел у костра желтый камень. Подошел, поднял его с земли, в руке подбросил.

— Откуда это богатство у тебя, Елдон?

Отец горько усмехнулся:

— Богатство...— и вздохнул.— Нашел на охоте. Принес ребятишкам на забаву.

— Дурень ты, Елдон. Настоящий дурень,— хищно блеснул глазами темичи.— Да знаешь, что ты нашел? Золото. Этот камешек всех пятидесяти соболей стоит.— Он с жадностью смотрел на камень.

— Ладно,— сказал он.— Возьму я его себе. А твой долг отдам баю. Правда, я, кажется, переборщил немного. Не стоит он, пожалуй, пятидесяти соболей. Да уж выручу тебя, красив шибко камень-то.

— Смеешься, темичи,— не поверил отец.— А долг я отдам, отдам...

— Дело говорю. Это — золото. Правда, кажется, дрянное золото, но хочу тебя поддержать. Согласен?

Обрадовался отец, когда понял, что не шутит темичи.

---

<sup>1</sup> Темичи — сборщик податей и долгов для бая (алт.).

— Возьми, пожалуйста, друг. До самой смерти не забуду.

— Ты покажи это место, Елдон, где такие камни родятся, — попросил темичи. — Может, там и лучше есть.

— Я уж и забыл, — почесал затылок отец, вспоминая.

— Вспомни, обязательно вспомни, Елдон, — наказал темичи и уехал...

— Золото! Неужели и этот камень... тоже? — загорелся Анчи. — И блестит так же, и тяжелый... Если только золото... — Дух захватило от радости у бедного охотника. — За такой кусок сколько можно баранов закупить. На всю жизнь хватит.

Он с благодарностью посмотрел на убитую кабаргу.

— Это она принесла мне счастье, — проговорил Анчи. — Она указала мне это богатство. Значит, не хочет, чтобы съели ее.

Он потоптался в нерешительности около нее и отважился:

— Закопаю. Пусть ее кости будут вместе. Она этого хочет.

Закопал кабаргу Анчи и побежал домой. Вот уже и знакомая долина показалась. Тут опомнился: разве золотом этим будут сыты дети? Свернул на тропу и пошел в ближнюю деревню. Зашел в крайнюю избушку к знакомому русскому плотнику.

— Как думаешь, Петро, сколько мне за этот камень баранов просить?

Тот повертел кусок золота и отдал обратно Анчи.

— Не знаю, друг. Никогда в руке не держал золота. Говорят, если б не было в мире золота, все люди счастливее жили. Много крови из-за него пролилось на свете.

— Не говори так, Петро, — обиделся Анчи. — О какой крови ты говоришь? Мне бы с десятков баранов, чтобы прокормиться до весны, до кандыка хотя бы. А ты — кровь...

Пошел Анчи по стоянкам. Всюду одно горе:дохнет скот. Шкуры на изгородях дубеют. Есть нечего становится в каждом анле. Одна чага и осталась, которую пьют вместо чая.

— Иди, Анчи, иди. Торгуй своим золотом в другом месте.

Много стоянок обошел Анчи, нигде даже ягненка не дают за его самородок. Отощал совсем охотник. Идет, качается от ветра.

— Возьмите хоть за пару ячменных лепешек,— протягивал свое золото Анчи, но все от него отворачивались.

Подошел он к огромному озеру. С трудом забрался на скалу и бросил тот дорогой, никому не нужный камень в воду.

— Возьми ты его, этот проклятый самородок. Ничего он не стоит, а говорят, где-то в мире из-за него люди кровь проливают. Будь оно проклято, дешевое золото.

Постоял, плюнул вслед всплеску и пошел к тому месту, где зарыл убитую кабаргу.

...За каменным припором, который легко и грациозно обогнул «Алмаз», ударил откуда-то из ближайшего ущелья холодный ветер. Взъерошилась Голубая падь, мраморные плиты воды зашершавели, будто прошлись по ним наждаком. Исчезли солнечные искры. Начался «ледолом». Белые, пенные барашки, похожие отдаленно на шугу, ударили по бортам теплохода. Вздохнула падь могучей грудью. Заколыхалась беспокойно, взволнованно, словно не стало вдруг хватать ей воздуха... «Алмаз» легко вздымался и падал, зарываясь носом в кипящую воду. Падал, но упрямо шел вперед. Рулевой, дюжий загорелый матрос, крепко держал штурвальное колесо. Оно проявляло явное беспокойство. Металось вверх, вниз...

— Не нервничать... Не нервничать,— приговаривал матрос, с силой удерживая его в руках.— Спокойно. Инфаркт можно нажать. Спокойно.

И вдруг ветер стих. Будто его обрубил. И снова стекольщик «Алмаз» режет спокойные голубые плиты воды.

...Где-то здесь, у этих берегов, притаилась та ночь. Осенняя, с ледяными заберегами, с пронизывающим до костей ветром.

...В Чолушманской коммуне ждали баркаса с «большой земли». Он вез семена. Полушубки. Пимы. Несколько шалей для девчат и куска три сатину. Ждали посменно, отряжая караулы на берег. А баркаса все не было. Верные люди были отправлены с ним. Надежные, крепкие. А все нет и нет их. Прошел месяц.

В одну из штормовых ночей выбросила Голубая падь на берег обломки баркаса...

Ни семян. Ни обуви зимней. Ни одежды. В коммуне жили девчонки. Они так ждали обещанных полушалков.

Подыграла бандитам Голубая падь...

Я смотрю, как солнце меряет глубину озера. Как раскалываются под его лучом голубые глыбы, а в глазах — коммунарские девчонки...

Вон там, на пристани, — не те. Шумные, горластые, загорелые.

— Почему у него нет ни приливов, ни отливов? — спрашивает одна, с острыми ключицами и волосами цвета спелой рябины, охватившими подковкой ее голову. — Ведь почти что море. Около семидесяти в длину и шесть-семь в ширину.

— А куда ему отливаться? На скалы, да? — восклицает другая.

— Все равно куда...

— А по-моему, потому, что оно несоленое, — говорит третья. — Вот и все.

Смеются. Потом спорят о предстоящем маршруте похода. И все спорят, спорят... Словам не верят. Все хотят попробовать на зуб.

А мальчишки сидят на каменных плитах с удочками. Один говорит:

— В Иогачском леспромхозе, во-он, что на том берегу, запустили мальков омуля. Приживутся?

— А то нет! — отвечает ему другой. — Тут вода не хуже, чем в Байкале. Может, еще и лучше.

— Запустить бы сюда всех-всех рыб, — мечтательно произносит третий. — Они бы тут выводились и шли вниз по Бии, а потом в Обь. А из нее во все реки...

— Рыбный откормсовхоз устроить? — недоверчиво тянет первый.

— А что. Пусть. Разве нельзя?

Поверхность воды прочертила, будто ножом, какая-то шустрая рыбина. Ребята вздрогнули.

— Ускуч или щука? А?

— Небось жрет тех мальков, ребята! Давайте аква-ланги наденем и понаблюдаем в воде...

Эта мысль, видно, всем понравилась. Мальчишек как ветром сдуло с берега...

Заботливые. Пытливые. Может, среди них и потомки славных коммунаров?

## Чолушманские новеллы

### Опасное соседство

Это произошло в те годы, когда недалеко от Чодро, на левом берегу Чолушмана, стояла еще пограничная застава. Где-то рядом, в верховье Чолушмана, — граница с Тувой. Теперь-то надобность в границе отпала, потому что тувинцы вошли в нашу страну автономной республикой.

Так вот, как-то выше этой заставы километров на десять встретился егерь Полуянов нос к носу с «хозяйном тайги».

Егерь хотел напоить коня и, ничего не подозревая, вел его в поводу к реке. И вдруг из-под вывороченного корневища на него вышел медведь. Конь рванулся в сторону, вырвал повод и помчался, фыркая, назад по тропе, унося с собой и ружье, и припасы.

Остался Полуянов один на один с мишкой. Схватился за нож. Да второпях никак не может из деревянных ножен выдернуть. А медведю назад пути нет — река там, он и пошел на егеря. Попятился тот, спиной в сосну уперся. Некуда дальше отступать. А нож вперекрут с ремненным шнурком пошел. Чем сильнее дергает его Полуянов, тем он больше запутывается. Взмок. В голове вихрь — что делать? И вдруг, повинувшись одной мысли, шагнул навстречу зверю, размахнулся да как трахнул «хозяйна» кулаком в ухо. А кулак у егеря свинцовый, быка валнул на землю.

Взревел мишка, откачнулся назад, но не упал. Тогда разбежался Полуянов и хотел его в воду спихнуть. Полетел «хозяйин» под яр, да успел и Полуянова с собой за телогрейку прихватить. Перелетел тот через медведя — и с головой в воду.

Вынырнул, лицо обтер ладонью и шарит глазами, где медведь. А вокруг камни торчат. Вода бурлит возле них. Подхватило егеря и поволокло вниз. В это время его чем-то больно ударило в плечо. Повернулся, а это огромная сосна плывет. Упала где-то с берега. Забрался он на нее и только отдышался, слышит, кто-то фыркает. Глянул на комель, а там «хозяйин» отряхивает свою шубу. Тут дерево поперек реки пошло и сразу же о камень трянуло. За-

трещали сучья, вершину кверху задрало. «Хозяин» опять в воде оказался.

«Ну, может, закурят тебя, черта лохматого», — подумал егерь. В это время вершина стала тонуть, и егерь пошел под воду. А когда снова вынырнул, увидел мишку, мотавшего головой и отфыркивавшегося, на прежнем месте.

Так они иплыли. У самой пограничной заставы дерево развернуло. В это время с берега раздалась свистки. «Нарвался на тревогу, — с досадой подумал Полуянов. — Ну, хоть от опасного соседства избавлюсь. Выручат небось. Парни свои. Не раз виделась».

К воде подбежали пограничники. Взметнулось вверх лассо. Дерево подцепили и потянули к берегу.

— Вот он, беглец... Здорово, Михаил Иванович! Нехорошо, брат, нехорошо. А ну давай домой. Давай, — раздалась веселые голоса.

Медведь отряхнулся и покорно пошел за пограничниками.

...Егерь обсушился на заставе. Солдаты наполнили его чаем. Поел на кухне и Мишка. Поел и охотно пошел на борьбу со смельчаками. Смешно топтался вокруг, обхватив борца. Пробовал егерь по настоянию пограничников помириться с ним. Подошел, протянул ему руку. Мишка ткнулся мордой в нее, сердито оскалил клыки и недовольно отвернулся.

— Правильно, Михайла, — смеялись пограничники. — Надо быть принципиальным. Оплеух никому не прощай. А за самоволку придется тебе все-таки на гауптвахте посидеть. Давай-ка на цепь.

Мишка покорно подставил шею и, недовольно пофыркивая, пошел за солдатом.

## Удар

Марал вышел из кедрача. Остановился на опушке. Втянул с силой воздух. Постоял некоторое время и, спокойно подойдя к акации, стал легонько раскачивать ее рогами. А опасность уже подстерегала его. Из-за реки взял его на мушку охотник. Рогач был спокоен. Охотник горячился. Никак не мог поймать в прорезь прицела голову животного,

Выстрел. Марал делает прыжок в сторону и тут же падает. Издав торжествующий крик, охотник бежит через речку, высоко держа в руке ружье.

Подбежав к маралу, он вешает на его рога карабин и, не скрывая радости, пробует вскочить на тушу.

Вдруг резкий удар отбрасывает его далеко в сторону. Раздается топот, хруст сучьев. И наступает тишина.

Только в голове охотника звенят еще какие-то колокола. Ноет плечо, разбитая голень саднит.

Очередная охотничья история. Ее рассказывает нам егерь Двоглазов. Остроносое обветренное лицо его хранит таинственную усмешку. В глазах немой вопрос.

— Не верите? Могу назвать охотника.

Но все знают его. С прошлого года у Двоглазова новое ружье.

— Что же стряслось с маралом?— спрашиваем незадачливого охотника.— Ведь марал-то, говорите, лежал?

— Лежал, проклятый, замертво. Даже откинул ноги.

— Что же тогда?

— Шок... Самый настоящий шок. Так говорят медики.

#### Старик и степь

Грузный, широкоплечий, в который раз за свою долгую жизнь едет Лаша Аспамбитов по этой высокогорной степи Кызыл-Тау. Буланный конь несет его по едва приметной тропе на стоянку. Каждый раз эти встречи как-то по-новому раскрывают смысл жизни.

Лаша Аспамбитов — старший чабан колхоза «Путь к коммунизму». Живет на стоянке в Сулу-Анр. Стоянка на пригорке. Отсюда далеко видна степь. За эти годы многое изменилось в Кызыл-Тау. Вот той светлой полоски, которая ярко вспыхивает на утренней и вечерней зорьках раньше не было. Была перед глазами рыжеватая ранней весной и осенью степь. Мчались сероватыми клубками по этой степи бродяги перекати-поле. Редкие метелки ковыля качались на пригорках. А что это там за светлая полоска? Вода, Лаша? Может, твои сверстники, старики, додумались добыть ее, а?

Это произошло в пятидесятую весну, Лаша, если ты помнишь, в юбилейную годовщину Октября. Почему его годовщину ты весной называешь? Да и не один ты. На всех стоянках тоже называют Октябрь весенним месяцем.

Это просто. Понятно каждому. Октябрь принес Кош-Агачу весну.

И не только Кош-Агачу...

Вот сегодня в Доме животноводов твой сосед Иманмади Касымканов в кругу стариков раскрыл тетрадь и читал свои сочинения. Книгу хочет делать Иманмади. Это интересно. А главное, та книга так и будет называться — «Первая весна». Верно и то, что весну надо завоевать. И что тот самый Карым, о котором он пишет, не твой ли это, Лаша, сын Баташ? Очень уж его характер проглядывается — упрямый, настойчивый. После школы решил поработать в отаре. «Плохим, говорит, буду зоотехником, если со школьной скамьи поеду на него учиться...» Пошел на отару. Правда, там где-то рядом Тойлош с матерью работала. Наверно, эта девушка не последняя причина... А нет ли у Багаша такой же соседки? Кажется, нет...

Старик вздохнул с облегчением и посмотрел в степь. Вон та самая полоска воды. А около нее и сейчас зеленеет трава. Это здорово, что сумели добыть воду сразу в пяти местах. Пройдет два-три года, и этих мест, наверно, совсем не узнаешь.

Вот такие, как твой сын Баташ, могут озеленить всю степь, Лаша... Могут. Помнишь, как-то ровесники его в Тебелере собирались в клубе и обсуждали... Что ты думаешь? Никогда б не догадаться ни одному аксакалу. Завтрашний день села обсуждали. И карту нарисовали. Веселая карта. Село — будто небольшой городок. И электричество. И водоем. И новые дома в ряд. Прямо городок. Старикки слушали и качали головами. Хорошую, забавную сказку сочинили ребята. Особенно про этот пруд. Откуда он возьмется на пустынном месте?

Сколько же лет прошло с тех пор, Лаша? Да не очень много. Тогда на твоей стоянке только начали строить жилой дом. А в культурном центре Чаган-Бургузы баню открыли для чабанов окрестных стоянок. Значит, прошло всего четыре года. И вот в селе пробурили скважину, глубоко опустили трубы, в самое нутро земли, и вдруг вырвался оттуда фонтан. Он затопил почти весь Тебелер. День и ночь работали на котловане люди, чтобы собрать воду в одно место. Вот тебе и мечта ребячья. Не было воды сотни лет в селе, а может, и тысячи. И вдруг котлована не хватило, чтобы собрать ее всю. Пришлось часть за околицу спустить.

Сегодня вои в Доме животновода Куандах Чакшинов выступил и потребовал эти самые транзисторы для каждого пастуха. «Пусть радио будет у седла рассказывать мне все новости». Интересно, что бы сказал его отец в ту пору, когда у Куандах еще усы не росли, если бы он привесил к своему седлу то самое кочующее радио? Наверно, сказал бы, что Куандах с нечистой силой, с самим шайтаном дело имеет... А теперь и старикам транзистор кажется обычным делом. Почему это? Да потому, что Октябрь с каждым годом перестраивает жизнь народа, да и сам народ поднимается на такую высоту, которая ему и не снилась. В давние времена говорили, когда хотели посмеяться над кем-нибудь: «А ты сгоняй, парень, овечку в Тархатинскую долину и напон ее там...» Это было невозможным делом, особенно в зимнее время. И все знали об этом. Сейчас там, говорят, более десяти тысяч овец все лето паслось. А эта долина считалась испокон веков брошенной. Сухой. Безжизненной.

Обуздали в Мухор-Тархата Тархатинку и пустили воду по арыкам на степь. Потом обводнили степь с помощью скважин. Там, говорят, около семи тысяч гектаров обводнили. Неужели, Лаша, доживешь ты до того дня, когда вся эта Чуйская степь зацветет, забушует травами? Стоило прожить эти не всегда легкие годы, чтобы увидеть это чудо. Раньше бы такое приняли за сказку, за красивую легенду, а теперь не видишь в том ничего странного.

Каждый год давал повод для раздумий, открывал что-то новое, необычное. Оттого и народ смелей стал в своих начинаниях.

А помнишь, Лаша, как пас байскую отару? Ты, пожалуй, постарше был тогда, чем твой сын Телемрай. О чем ты мечтал тогда? О, это были бескрылые мечты, Лаша... Не правда ли? Бай говорит:

— Ты, Лаша, послушный парень... хорошенько следи за отарой. Привеса добивайся. Он в твое личное хозяйство пойдет, Лаша. Хозяином сам будешь.

Старался Лаша. День и ночь у той отары. К осени хорошо молодняк поднимался. Привес должен быть хороший. Если тот привес сложить, то, наверно, целая сотня новых получится овечек. А бай? Осмотрев осепью отару, говорил снова:

— Это, Лаша, легкий привес. Он может за зиму уйти. Сохрани за зиму овечек, вот тогда и посмотрим...

А в зиму околевала на бескормице не одна овца. Так и уплывал привес. У бая росла отара за отарой, а в твоём пригоне, Лаша, не густо было что-то с приплодом. Да и откуда ему прибывать? Бай хорошо знал счет своим отарам. И не только он умел считать овец. Помнишь тот случай с муллою, Лаша? Прежде чем прийти к заболевшей твоей матери, он выбрал самую лучшую овцу из твоего выгона. А мать так и не поправилась...

Как далеко то темное время. Далеко и близко... Да, кажется, рукой до него подать. А помнишь, как ты, Лаша, и другие батраки бая враждовали между собой? А из-за чего? Что было делить? Хитер бай. Умел играть на протодушии людей.

— Ты посмотри, Лаша,— говорил бай,— посмотри, как умеет хитрить Тельденбай... Он до зари встает и захватывает лучшие выпаса. У него и овечки — будто торбоки. Сильные, жирные. Неужели ты уступишь ему? Тельденбай за хороший нагул и заботу об отаре опояску шелковую от меня получил... И ты бы получить мог. Красива опояска у Тельденбая. Будто радуга. Надо перехитрить его.

И вот ты, Лаша, всю ночь не спал, а к утру захватил все-таки то богатое пастбище. А потом? Потом примчался Тельденбай, и вы схватились с ним. Исполосовали друг друга до крови. Врагами стали на долгие годы. А почему? Как-то Тельденбай об этом вспомнил недавно. Посмеялись. Покачали головами. Рассказали молодым ребятам — не поверили. И трудно теперь поверить этому. По-иному воспитывается молодежь. Помнишь, как в Уландрыке разметало во время бури отару Нуртазанова? Около сорока мотоциклистов выехали тогда в степь. Исколесили все урочища и нашли. Нельзя допустить, чтобы погибла целая отара колхоза. И ведь не твоего колхоза была эта отара, а даже твой сын и дочка были целые сутки в розыске. Нашли, и все радовались.

...Едет Лаша Аспамбитов по необозримым просторам Кызыл-Тау. Который раз едет он уже по этой тропе за свою большую жизнь. И каждый раз тропа кажется новой. Может, не тропа, а мысли всякий раз новые родит она? Может... Если так, значит, хорошая эта тропа, Лаша. С нее ведь начинал и колхоз, прежде чем вышел на большую дорогу. И тебе не изменила она. Восемь детей вырастил. И у каждого из них будет своя тропа в жизни.

Но только тогда они будут большими и светлыми, когда пойдут рядом с дорогой твоего родного колхоза, твоей страны, Лаша. Это так. Это так...

### Живая вода

Широка, безбрежна Чуйская полупустынная степь. Вокруг, от горизонта до горизонта, всхолмленная серая долина да редкие жесткие кустики верблюжьей колючки. Жарким летом в степи полыхают трепетными струями призрачные миражи. Дальние горы, окружающие степь, вдруг перемещаются на песчаную равнину. Переливаются то струями водопадов, то неожиданно возникшими озерами.

Степь воды просила. Жажда мучила ее, вот и мнились ей далекие снежные потоки, серебряные ручьи и озера. Извечная мечта иссушенной земли. На глазах лопались камни, превращаясь в пыль. Глубокие трещины рвали землю. Будто больную, палило и морозило ее, и она покрывалась облезлыми шкурками солонца-пегая, неприглядная. Кого она могла радовать, такая с виду безжизненная, с суровым непостоянным характером — эта Чуйская полупустыня? На высоте почти трех тысяч метров над уровнем моря она имела свои, подвластные такой высоте привычки и нормы поведения. Ураганный ветер может ворваться в нее в любую минуту, крепкий заморозок или снег может прервать теплый день и выбелить землю хрустящим инеем, блюдца озер застеклить блестящей паутиной льда... А вскоре полупустыня расслабится, подбреет, обдаст жаром и задышит тепло и ровно.

— Вот такая она у нас, — говорят кош-агачские животноводы. — Не знаешь, как и пригноривиться к ней...

А в этом высокогорном аймаке почти полмиллиона голов скота: отары овец, коз-пухоносов, табуны коней, стада яков, верблюдов, коров...

Из поколения в поколение десятки, а то и сотни лет по крупнякам набирался опыт вождения отар. Но люди нетерпеливы. Им хочется большего. Кто не мечтал из здешних животноводов видеть эту равнину, покрытую травой! И ученые-селекционеры много лет проводили опыты, чтобы вырастить для Кош-Агача траву, да такую, чтоб наперекор всем капризам здешней природы пошла.

Опытов было много, а проку мало. Естественно, требовалась вода. Ее отводили из Чуи по суакам на опытные участки прежние селекционеры. Вода хоть и оживляла растения, но в рост шли они плохо. Тогда и появился в Кокоринском совхозе «40 лет Октября», что лежит в самой высокой Сайлюгемской долине, агроном-селекционер Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной станции коммунист Анатолий Георгиевич Вишокуров. Три лета провел он со своим молодым помощником Битюцким под Кокорей. Вернулись на станцию с первыми «трофеями» — снопами из выращенной травы. Мы встретились.

Он сказал:

— Вопросами освоения земледелия здесь начали заниматься еще в тридцатые годы Ивановский, Чолушев, Холлина, Подошва и другие научные работники. Дело в том, что в условиях полупустынной Чуйской степи очень суровый климат.

Достав блокнот, зачитал справку:

— Среднегодовая температура — минус семь градусов. В зимнее время морозы до шестидесяти градусов, в летнее — плюс тридцать один. Осадков сто пять миллиметров. Снега, как правило, в зимний период не бывает. Поэтому растительность степи очень бедная. Представлена несколькими продуктивными солончаковыми видами. Для того чтобы улучшить кормовую базу хозяйства, необходимо подобрать такие растения, которые способны жить в этих суровых климатических условиях и обеспечивать высокие урожаи трав на сено. Суть: не просто произрастали, но и давали бы богатые урожаи. Как добиться этого? Было ясно: нужно увеличить полив и попробовать заняться внесением удобрений.

Оторвался от записей, сухо добавил:

— Такую задачу мы и ставили перед собой.

И вот вскоре, как вспоминает верблюдовод Кокоринского колхоза Мамый Кадырович Ачубаев, в его урочище Дьялкытал произошло невероятное событие.

...С детства осталась в его памяти тоскливая песня полупустыни. Монотонная, скорбно звенящая мелодия. Она сливалась с шуршанием песка о жесткие лепестки верблюжьей колючки — чня, тревожная, как вздох, как порыв сухого ветра в душном ущелье.

И вдруг пришли новые звуки. В урочище приехали веселые загорелые парни и поставили высокую треногу.

Потом запустили в сухую землю бур. Бешено крутятся, он вгрызался стальными зубьями все глубже, таща за собой звенящие трубы. Одну за другой поглотил он их целый штабель. Тогда, помнится, отец Мамый Кадыр, оставив в степи верблюжий косяк, подъехал к той вышке и, присев на корточки, с удивлением посмотрел на парней, на пляшущие под солнцем трубы, обронил в раздумье:

— Победят они его или нет?

Мамый не понял.

— Кого?— спросил он.

— Да того самого,— махнул рукой старик.

И Мамый догадался. Эрлика<sup>1</sup> должны были схватить за горло эти самые парни с буровой вышки. Схватить и отнять у него воду. Стара легенда о жестоком боге недр, укравшем у Чуйской степи воду, и отец под стать той легенде. Понимать его нужно так: «Ты, конечно, знаешь, что я не суеверный человек. Ни в богов, ни в чертей не верил всю жизнь, и все же хорошо бы обломать тому Эрлику рога и зубы и вернуть степи воду. Пошла бы вода, и люди посмеялись бы над той легендой. И мне хочется посмеяться».

Беспокойный стал к старости отец. Он торопил время.

— Послушай, сын. Отец мой, умирая, говорил: «Ничего я не мог вам дать, дети мои. Время давно остановилось. Оно не замечает нас. Обходит стороной. Может, зацепилось где в Сайлюгемских горах за вершину древней лиственницы. Пойщите его. Должно же оно повернуться к нам счастьем и достатком. Вы молоды и сильны — вам обратять его под силу». Так и умер, все чего-то ожидая. Я встретил в степи с открытой грудью революцию. Мы прогнали баев и повернули всю жизнь на счастливую тропу. Москва отметила мой труд самой высокой наградой страны — орденом Ленина. Я счастлив, что Ленин был все эти годы со мной. Я дожил до тех дней, когда человек моей Родины первым вырвался к солнцу. В нашей Кокоре, где и ты, Мамый, рос, табуны коней, верблюдов, яков, много отар овец. Мы нашли то потерянное время и заставили работать на себя. А ведь еще много осталось старых троп в нашей степи. Тех, по которым гоняли скот в старину. А эти тропы от источника. Ты спроси парней, Мамый: могут они обрадовать старика?

---

<sup>1</sup> Эрлик — бог недр по алтайской мифологии.

— Они работают, отец, уверенно работают,— успокаивал Мамый больного уже старика.

И вдруг совсем неожиданно скважина заговорила. Это было ранним утром, а уже через час-другой знал об этом весь колхозный поселок Кокоря, а к обеду — вся округа с многочисленными стоянками.

— Вода! Пошла вода!

И не пошла, а рванулась из подземелья стремительно и дерзко к самому солнцу. Будто гигантский клинок сказочного батыра проткнул тугой, напоенный густым отваром полупустыни, горьковатый воздух. И вспыхнуло вдруг разноцветное ожерелье из трепетной струи, повиснув радугой над степью.

...Помнит Мамый, как до полуночи просидел старик у той скважины, переливая в ладонях живую воду.

И потом уже через несколько дней, прощаясь с родными, какой-то просветленный, подобранный и строгий сказал:

— Я завещаю тебе, Мамый, воду. Она живая. Она возродит жизнь в Чуйской степи.

— Вижу, отец. Вижу...

Не дожил Кадыр до того момента, когда у скважины родилась речка. Колхозники помогли прорыть от нее суаки. Вода живыми змейками пошла на серые потрескавшиеся шкуры солонцов. Изумрудный островок появился, как в сказке, на небольшом пока клочке земли. Но всем стало ясно: будут травы! Живые силы подняли их в рост, а агроном Анатолий Винокуров скептически качал головой:

— Не трава — одна видимость. Выпасы — еще не все, необходимо свое сено. Не привозное. Откуда возите в трудные зимы — подумать только: со всего Алтайского края, за тысячу верст! И во сколько обходится оно вам? В копейку обходится.

— Чего же еще надо? — удивились в правлении колхоза. — Вода есть. Трава появилась. Правда, мелкая трава. Какой там сенокос на ней... А может, подрастет еще?

— Следует помочь ей в этом, необходимы удобрения...

И вот уже около сотни возделанных делянок появилось по берегам речушки. К повой весне завезли кокорницы каллийную соль, аммиачную селитру, суперфосфат. Всю зиму к безымянной речушке возили колхозники пере-

гной. А летом заколосился овес, ячмень, житняк, пошли хорошо в рост, будто это была их извечная родина.

...Мы слушали рассказ Винокурова.

— Высевалось большое количество многолетних трав. В том числе и бобовые, но они начисто вымерзли. Установлено, что способны выживать только некоторые злаковые. Такие травы, как костер безостый, волоснец сибирский, ревнерия волокнистая, житняки ширококолосые и узкоколосые и некоторые другие. Но и они при одном только орошении способны обеспечивать невысокий урожай сена — восемь-девять центнеров. Ну, разве это урожай? Будем экспериментировать.

И снова за работу. Искали оптимальных норм внесения удобрений. Год, второй, третий.

— Наконец что-то вырисовалось подходящее только в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, — вспоминает Винокуров, — остановились на расчете: три центнера аммиачной селитры на гектар, полтора центнера двойного суперфосфата и одного центнера калийной соли при интенсивном поливе. Урожай подскочил до тридцати центнеров. А овес, который скосили на сено, правда, с небольшого пока участка, дал около шестидесяти центнеров. Это уже было кое-что, — довольно смеется селекционер.

Кокоринцы впервые за всю историю колхоза поставили в тот год своего (не привозного!) сена около тринадцати тысяч центнеров.

А вот что рассказывает наш знакомый потомственный верблюдовод Мамый Ачубаев:

— Скажи, какую силу имеет эта сказка! А ведь это же сказка, чтобы родить такую уйму травы в Чуйской степи! Когда я прогоняю здесь своих верблюдов, даже они останавливаются и с удивлением смотрят на зеленый этот остров, которого не было раньше. Мой отец, Кадыр, был бы он жив в эти дни, наверно, назвал бы этих русских парней батырами. Это они сразу насмерть злого Эрлика. Пусть он жил в легенде. Но у той легенды не было счастливого конца. Никто не положил на лопатки того Эрлика. А они положили — добыли живую воду.

— Но воду и раньше пускали из Чуи.

— Э-э, Чуя. Что Чуя? Вон она бежит по гальке, а по берегам своим разве только немного тал освежает. Не дает засохнуть. Живая вода, я понял, только та, которая с наукой дружит. Разными составами богатая.

— Значит, у той легенды будет хорошая концовка, Мамый? Так я понял тебя?

— Народ скажет. Он умеет сказать мудро,— заключил Мамый.

Наверное, так бы и сам аксакал Кадыр сказал. Лучше не скажешь.

...В августе Чуйская степь уже холодна. Ветрена. Звонит земля от первых заморозков. Дышат холодом заснеженные вершины гор.

Председатель колхоза «40 лет Октября» Сабирды Макажанов собрался с членами правления посмотреть на Бар-Баргузинскую плотину. Мы встретились с ним у Бельмянной речушки недалеко от скважины.

— На второй же год, как только опытный наш агрономический участок родил травы,— сказал он,— мы решили добыть большую воду. Километрах в двенадцати отсюда запрудили две речушки, которые не добежали до степи, уходили в песок, в землю. Или, как говорил покойный Кадыр: «Прислужничали Эрлику»... Весной эта плотина дала воду тысяче гектаров. Но дело, как показал опыт Винокурова, не только в воде. Удобрения еще нужны. В них вся суть. Завозим. Хоть и далековато от железнодорожной станции до нас. Считай — шестьсот километров. А надо. Главное — раскусили полупустыню. Уж теперь все в наших руках.— И, неожиданно рассмеявшись, спросил: — Сколько лет жили тут разные легенды об Эрлике, укравшем воду? Небось тыщу, а то и больше. Но до наших дней дошли, тут им и конец. Ловко, правда?

И с горделивой ноткой в голосе, совсем без перехода, говорил о другом, о том, видно, что больше занимало умы кошагачцев...

— Теперь во всех селах: и в Ак-Тале, и в Тебелере, и в Ортолыке с Мухор-Тархатой планируют поливы и завозят удобрения.

Он был рад, председатель одного из передовых в Кош-Агаче хозяйств. И было чему радоваться. Окрыленные первыми успехами, люди уже не могли не думать о большом размахе. Заканчивая работы на крупнейшей в высокогорной степи Бар-Баргузинской мелноративной системе, заложили вторую — Кош-Тальскую. Она на предплечье Сайлюгемского хребта. По расчетам специалистов, Кош-Тальское гидросооружение оросит до восьми-

сот гектаров земли. В Мухор-Тархате непокорный ранее Снежный барс— бурный горный поток, обуздали. Дождевальные установки купили...

Мечта, ушедшая в смелый поиск, приносит первые успехи животноводам Чуйской полупустыни.

А мечту возродила вот эта Безымянная речушка.

...Бежит, струится она, подернутая зимой легкой корочкой льда, а совсем не замерзает, отдавая живую воду истосковавшейся по ней земле.

И как магнитом притянула она к себе новые тропы. Идут к ней кочующие в горах табуны и отары. Чабаны и табунщики, бывалые люди, выбрали это место для встреч.

И это знаменательно: отсюда на Чуйскую степь смотрит будущее.

### Караван идет по степи

Борис Борбуев — беспокойный человек. Он весь — движение. Хотелось Борису ветра. Стремительного полета. Ведь Тархатинская степь — само раздолье. Зовет. Манит. Не раз грезился парню быстроногий аргамак. А в седле — он, Борис Борбуев, смелый, решительный табунщик. А сзади — вихри. По бокам — ветры гудящие, как телеграфные провода. В лицо — жесткая грива коня...

Пожалуй, неплохим табунщиком мог быть Борис. Неужели в колхозе не понимают его мечты?

Осенью вызывает его председатель колхоза Сейсеменов и говорит:

— Вот что, Борис, ты комсомолец. Нам очень нужны боевые парни на один ответственный участок...

Кажется, мечта сбывается. Сейчас Николай Иванович скажет: «Садись-ка, Борис, на доброго коня и принимай табун лошадей». Но Сейсеменов сказал неожиданно такое, от чего у Бориса даже уши покраснели.

— Будешь караванщиком, Борис. Предстоит суровая зима, забот прибавится. Сильные нужны люди. Слабым не по плечу.

Вот тебе и мечты. Быстроногий конь! Верблюд... Борис на одно только мгновение представил себя сидящим на этом «корабле пустыни» и чуть не заплакал от досады и обиды.

— Николай Иванович...— выдавил он и умоляюще посмотрел на председателя.

Сейсекенов понял его, улыбнулся.

— Дело прежде всего, Борис. Ты будешь первым гостем на стоянке. Понял? От твоего каравана будет многое зависеть.

Все это, конечно, так. Но... верблюд — не аргамак. И караван — не табун резвых лошадей.

В тот же вечер Борис встретился с караванщиком Актышканом Тынтышевым. Актышкан уже не первый год ходил за верблюдами.

— Тебя не мутит от них, Актышкан? — спросил Борис.

Тот обиделся.

— Я думал, ты поумней, парень. Я сам уговорю Сейсекенова, чтобы не давал мне такого помощника. Ты лихой, видно, в клубе, на танцах. А караван нужно водить с умом...

Похоже, Актышкан умел задеть за больное. Борис взорвался:

— Ну, посмотрим, кто лучше знает пастуший тропы...

Это было в начале октября. Чабаны начали перебивать на зимние стоянки. Караван из десяти верблюдов теперь был ежедневно в пути. Неприхотливые и, что важно, совсем, кажется, не знающие устали верблюды шагали от одной стоянки к другой, перевозя на себе пастуший скарб. Шагали не торопясь, пересекая степь с одного конца в другой, сутками не припадая к чию и каргане.

Наблюдая за повадками этих удивительных животных, молодой караванщик проникался к ним все большим уважением: «Сила!»

...В декабре выпал снег. Степь стала непривычно белой. Замело тропы. А в предгорье и верховьях Тархатинского хребта сорвались невесть откуда бураны. Свирепые ветры на сорокаградусном морозе день и ночь полосовали пастбища, переметая лога и горные долины. На стоянках сразу же почувствовался недостаток топлива и кормов.

С большим трудом пробивались в горы машины. Не выдержав перегрузки, одна за другой выходят они из строя. Положение становится угрожающим. Колхоз бросает весь транспорт на стоянки. Но глубокий твердый снег путает расчеты и планы.

Вот уже месяц крутятся снежные вихри над Тархатинским хребтом. Десятки стоянок, сотни гектаров зимних пастбищ оказались под снегом.

— Выручайте,— сказал Борису секретарь партбюро Меерманов.— Бураны в горах отрезали пути даже тракторам.

...Была ночь. Гудел в степи ветер, бил в лицо, ослеплял, бросал под ноги охапки жесткого, как песок, снега. Без дорог и троп идет караван. Это уже второй рейс за короткий зимний день. Сначала караванщики побывали на ближайшей стоянке. Теперь путь дальний. Ночь застала в дороге. Где-то там, в горах, стоянка Курдяповых. А гор совсем не видно. Мутная, едва различимая сквозь пургу гряда маячит где-то впереди. Караван ведет старый вожак — высокий с побелевшей лохматой гривой рядом молодой караванщик, комсомолец Борис Борбуев. Сзади, покрикивая на животных, а больше для того, чтобы немного взбодрить себя, шагает Актышкан. Вокруг — ни души. Вокруг — шалый ветер взметает острый колючий снег. Борис закрывается от него рукавом. Тогда снег бьет снизу. Презрительно урча, иногда мотая маленькой головой, вожак не сбавляет ровного степенного шага.

«Как он угадывает направление?— с удивлением думает о нем Борбуев.— Идет, не оглядываясь, вперед и вперед... Чертова прорва,— злится он на буран.— Видно же было, когда грузились. А как надо поступить? Ждать утра? А там, на стоянке, ослабевшие овцы. Там небось засмотрелись на дорогу. Нет, Борис, ты лучше думай о том, как будут рады каравану чабаны... А вдруг заблудимся?»

Идет по буранной степи караван. Идет почти всю ночь. Когда же стало светлеть на востоке, на караван вдруг двинулись горы.

Борис ласково похлопал жокака.

— Молодец, честное слово. Кто тебя придумал, такого умного!

Ветры свернулись у ног. Караван втягивался в ущелье.

Тан-Чолмон —  
утренняя звезда

Костер

Помнится, сероватая искристая мгла стояла над степью всю зиму. А зима представляется как один день, запекшийся где-то в памяти. Посреди снежного поля — одинокая юрта. А вокруг — снег, снег.

— Побереги костер, Джолтой. Остаешься хозяйкой...

Это мать. Это ее голос. Из того далекого прошлого, когда Джолтой было не более пяти. Ушла мать с отарой в степь. И отец ушел. Вот лохматая от скачущей выюги Уландрыкская долина впивается холодными звенящими иглами снега в задубевшую кочму юрты. Гудит, как бубен, юрта, вздрагивает от ветра.

Неуютна степь в такую пору. Страшна. Колюча. Ты успокой маленькую сестренку, Джолтой, и поддержи костер. Без него — беда. Без него ворвется под твою шубенку безжалостный ветер. А мать и отец? Где они наберутся тепла на завтрашний день, может быть, такой же хмурый и неприветливый?

Держи костер, Джолтой. Он друг чабана... Рыжий ласковый друг. И собеседник хороший, как настоящий мудрый аксакал, хотя никогда не стареет. Хороший, добрый друг. С ним можно вернуться в детство. Можно по мечтать о будущем.

Джолтой Джекенова... Это ваши слова. И еще мне помнится, говорили вы об утренней звезде Тан-Чолмон. Да, это друзья из далекого детства. С того самого времени, как только помнит себя Джолтой. Как-то вышла на рассвете из юрты и ахнула: прямо за кошарой горела, переливаясь, в белых искрах утренняя звезда. Тан-Чолмон. Это как в русских сказках, жар-птица. На цыпочках подошла Джолтой к кошаре; чтобы не спугнуть птицу, и долго, замерев, не дыша, смотрела на ее трепетное сияние. «Ты ко мне пришла? — доверчиво прошептала девочка. — Хорошо. Я к тебе буду выходить каждое утро. Только ты не прячься. Мне хорошо с тобой...» Мать сказала:

— Тан-Чолмон ведет за собой солнце, дочка. Кто дружит с ней, тот дружит с солнцем...

И позднее уже, значительно позднее снова о костре:

— Джолтой, обсушись у костра... На тебе сухой нитки нет,— говорит мать. Старенькая и уже бессильная.

А Джолтой — чабан... Она только что вернулась с отарой. И на ее ресницах, и на опушке шапки блестят, задорно переливаются снежинки. Смеясь, тянется она покрасневшими руками к костру. Тот, словно верный пес, облиывает их красным горячим языком. Молодая пастушка говорит с матерью, а обращается только к костру:

— Все в порядке. Все хорошо. Только ты скажи мне, эне: это опасно, пасти в устье Юстыт?

— Опасно. Там всегда глубокий снег, дочка. Недаром это место Мертвой долиной зовут.

— Ну, а если притоптать снег?— лукаво подмигивает костру Джолтой.

— Да как же на одном коне притопчешь его?— недоверчиво говорит мать.— А потом мертвая... Боязно среди этих холмов.

— И если прогнать там раз да другой туда-обратно, снова туда-обратно гурт сарлыков?

— Где ж их взять, дочка?— всплескивает руками старая чабанка и с любопытством смотрит на дочь.

Джолтой шумно хлопает над костром ладошками и весело смеется.

— А тут Кылу Уразмаев с сарлыками был. Я ему говорила: «И что это у тебя за животные такие, Кылу, а еще утверждаешь, сильные, как кони. Ходят они у тебя по буграм, будто овечки, а вниз, к устью Юстыт, боятся спуститься». — «Ничего, говорит, не боятся, захочу и спущу их туда». — «Ну, попробуй!» — «Не веришь! Ладно». И во весь дух на коне давай гонять сарлыков. Раз прогнал. Другой раз. «А теперь, говорю, хватит. Убирай своих зверей на косогор!» Он послушался, а я спустила в долину овечек... Трава — во! Вся на виду.

Мать внимательно смотрит на дочь. О чем она думает в этот миг? Джолтой знает и, тихо посмеиваясь, тянется к костру.

— Говорят, Джолтой... О-ы-ый, старая коза,— старушка хватается за голову.— Ничего я тебе не сказала раньше... Беда будет Джолтой!

— Какая же беда, эне?

— Большая будет беда.— Качаясь из стороны в сторону, мать присела к костру и, выхватив из него дрожащими руками уголек, сунула его в трубку. Пламя костра

качнулось в ее сторону, но словно передумало, вздыбилось и чуть не коснулось щеки девушки.

— Не балуйся,— отпрянула Джолтой, замахав руками на шаловливое пламя. «Соскучился. Играет. Ах, дурачок, без тебя ведь в степи действительно скучно... Но послушай, что говорит мать... Что-то я не так сделала. Опять эта загадочная Мертвая долина...»

— ...Давно старики обходят это место. Плохое оно. Кости человечьи находили там не раз. Шайтановы это кости. У дедушки Учюра овцы наелись там травы, а через неделю все подохли. Ай, старая коза, что я наделала!..

Джолтой смотрит на костер, пламя которого то желтой косынкой взметнется кверху, то с треском разорвется па части и начнет качаться из стороны в сторону, пугая своей огненной гривой. А Джолтой кажется, смеется он над словами матери. И ей весело. Но она хмурит брови и делает ему выговор. Нехорошо смеяться над пожилыми людьми.

— Успокойся, эне,— говорит она.— Что могут сделать нам шайтановы кости? Пусть старики обходят Юстыт, а лучше места я не вижу. Посмотришь, какие овечки будут у нас к весне.

— Вот Кылу угнал же сарлыков на косогоры,— укоризненно проговорила мать.

— Он просто уступил мне это место.

Мать тяжело вздохнула.

— Ты не знаешь Кылу... Он понимает, в чем дело.

— Эне, да он же комсомолец!

— Э-э, дочка. Разве комсомольцу во вред осторожность!

— Ах, эне, эне... Так вот и жили, век всего боясь, всего опасаясь. Как это, наверно, трудно!

Джолтой смотрит в костер, на его озорное пламя и думает: «Он поддерживает меня. Надо быть такой, как он. Он смелый и все тепло свое отдает людям».

Вспоминая сейчас о своем детстве, знатная чабан Кош-Агача Джолтой Джекенова не может не вспомнить о первом своем друге — костре.

— Почему-то кажется,— улыбаясь, говорит она,— его хваткой я была заражена тогда. Хотелось быть такой же горячей в делах и смелой в начинаниях. Тогда вот пошла против суеверия и глупых измышлений о Мертвой долине. Что? Да, конечно же, в ней нажировались овцы в тот

год... Я первую благодарность получила тогда от правления колхоза. А костер... Как видите, он и сейчас самый верный друг пастуха. Тан-Чолмон? Мне хочется всю жизнь идти за ней. Ведь это все равно что идти за солнцем, она ведет его за собой.

...У подножья Чуйских альп плавился июньский закат. Черным оком колюче, недобро поглядывала на чабанскую юрту темное холодное в эту пору высокогорное озеро Кара-Кёль. Где-то за ним ходило босоногое детство Джолтой. Маячила былинкой на ветру первая мечта: стать настоящим чабаном.

### В поиске

Был вечер, и не было вечера... Над Чуйской степью плыла песня, гудела домбра у анла Чаймардана Абугалимова. Звонкий, высокий голос певца приглашал запоздавшего путника к костру. Слушает Ак-Тал голос доморощенного певца. Слушают тальник и каргана по берегам Чун. Джолтой слушает, опустив на луку седла поводья. И солнце хоть и успело уже нырнуть за Чагат-вершину, а лучами все еще весело приветствует певца. Светло и спокойно на душе Джолтой. От песни? От настроения? Может быть. А настрой — от разговора в колхозной конторе. Только Чаймардан своей песней подогрел его.

— Ты, Джолтой, не стесняйся, приезжай в Дом животновода, на Чаган... Там тебя все ждать будут, — слышит она голос заведующего фермой. А удобно ли ей, совсем еще молодой пастушке, учиться зоотехнику вместе с аксакалами?

— Удобно, удобно... Не старое время, Джолтой, — заверяет зоотехник и добавляет: — Между нами говоря, некоторым из них не стыдно будет и у тебя поучиться. Не скромничай, Джолтой. Надо правде смотреть в глаза...

Так и сказал. А правда была такая: у молодого чабана Джекеновой по всему Ак-Талу высшие показатели по отаре. Показатели измеряются всего тремя основными факторами: весом овцы, шерстной продукцией ее и воспроизводством.

— Но у тебя, Джолтой, есть еще особый, четвертый фактор — тяга к совершенствованию, к поиску. Не глуши в себе этот особый фактор, — напутствовал в дорогу заведующий фермой, человек пожилой, добрый, но любя-

щий иногда говорить загадками; вот и на прощанье неожиданно добавил, заглядывая ей в глаза:— Так что, Джолтой, не всегда дважды два четыре получится. Бы- вает и пять.

Это, видно, от доброты его идет. А пять, может, и так. Стать настоящим животноводом — заветная мечта каж- дого чабана!

А от Чаймардановой юрты все еще летит песня, вол- нуня и тревожа чем-то... И вдруг ранит Джолтой. Девушка слышит свое имя в этой песне. Затанла дыхание, приос- тановила коня и, улыбнувшись, вдруг успокоилась. Мож- ет же такое показаться! А если и не показалось, то мало ли на степи девушек с таким именем. Были они и раньше. А песня ведь долго живет, не старясь.

Летит песня. Звенит, звенит домбра, а в светлую ме- лодию музыки вплетаются воспоминания.

...Тогда, в те годы, когда она еще только приняла от матери отару, ее первую рядом с собой в зоотехническом кружке увидели аксакалы. Увидели и сделали вид, что не узнали. Гордые, самолюбивые старики. Это ведь про них говорят в народе: шапка аксакала выше вершины Чаган-горы... Поет Чаймардан. Славит богатство родно- го Ак-Тала. Людей его. Их мечты. Ревниво оберегает свою мечту и Джолтой. Да, она тоже хочет доброй славы для своего села. Делают ее люди. Такие вот, как она. Пусть только мечта не будет недотрогой. Просто пусть поскромнее будет, а Джолтой постарается.

...Не предполагала тогда Джолтой, что скоро, очень скоро позовет ее жизнь в другое село, в Мухор-Тархату... Мечта... Она хоть и парит иногда в заоблачных высях, а от земных дорог — никуда. Выбирает в конце концов одну из них. «Значит, из Тархаты моя коренная дорога в жизнь,— подумала тогда Джолтой.— Какой-то будет там моя звезда?»

#### Особый фактор

Уже в первый осенний праздник в Тархате — День животновода, когда принято широко обнародовать итоги года, называть и чествовать лучших людей колхоза, но- восел из Ак-Тала Джолтой Джекенова заставила обра- тить на себя внимание ветеранов колхозного производ- ства.

— Ее показатели по отаре,— рассказывает бывший заведующий фермой Бухаров,— были настолько необычными для наших условий, что мы усомнились в них (не ошиблись ли в подсчетах!). Однако имя ее было названо в числе лучших.

Старейший чабан, сосед Джолтой по стоянке, Кокай Ногойманов вспоминает:

— Весна была суровая. Снег. Ветер. Слякоть. Решил проведать новосела. Встретила у костра. Хотел обидеться: «Почему в юрту не приглашает?» Слышу, а в юрте разноголосый ягнячий крик. Вот оно что... Выжили хозяйку. Такая она. Сидит у костра со старой немощной матерью, а в юрте ягнятишки хозяйничают. Тогда, помнится, я подумал: когда у человека на первом плане забота об общественном, артельном, даже в ущерб своему здоровью, какой же красоты душевной должен быть этот человек?..

...Помните дружеское напутствие заведующего фермой из Ак-Тала? Он сказал: «У тебя, Джолтой, есть и особый, четвертый фактор — тяга к совершенствованию, к поиску». Не это ли помогло тебе? Может, в том самом «четвертом факторе» все дело?

Джолтой, тихо смеясь, ничего не сказала в ответ. Отвернувшись, взяла в руки какую-то книжку. Мы осматриваем ее библиотечку — здесь в основном зоотехническая литература, справочники, инструкции. Правда, есть томик стихов местного горноалтайского поэта.

— Я до сих пор дружу с Тан-Чолмон,— говорит она загадочно.— С утренней звездой...

Она права — ведь это тоже поэзия... Лирика сердца, душа ее. И мы представили себе, что весть о награждении ее высшей правительственной наградой — орденом Ленина — могла дойти до ее стоянки именно в этот ранний утренний час, когда Джолтой приветствовала с зарей свою любимую звезду. Она подтвердила это, сказав:

— Видите, кто дружит с Тан-Чолмон, тот дружит с солнцем.

Завидная доля — дружить с солнцем!

Высокая награда... Все помнится. Только трудно об этом говорить, потому что было все сложнее. Значительно сложнее. Ну, как, чем объяснить вот ту какую-то подспудную силу, которая все эти годы звала, и не просто звала, а прямо требовала идти вперед, думать, раскла-

дывать по мельчайшим, порой еле приметным деталям свою работу, свой первый успех. Может, из этих неприметных деталей постепенно складывался опыт?

Смешно вспомнить... На стоянку примчался как-то сам секретарь райкома комсомола. Горячий, нетерпеливый парень засыпал десятками вопросов. Мы, говорит, будем обобщать для молодых чабанов ваш опыт. А разве можно говорить о том, из чего складывается это самое чабанское мастерство? Это просто невозможно. Вождение отары — искусство.

— Главное здесь, видно, в том, что ты не можешь представить себя на другой работе. И все, чего ты достигла,— это частица тебя, и вся твоя жизнь из этих самых живых частиц.

А вот тот день... Он до сих пор в глазах, как огромный букет цветов. В Кош-Агаче мало цветов, а если есть, то в них почему-то мало солнца. В Горно-Алтайске видела другие. На экспериментальной базе горного садоводства. Тогда проходило большое собрание передовиков сельского хозяйства. И в саду в этом побывали. Другой цветок, кажется, страшно в руки взять — нежнейший. Так вот тот самый день, когда вручали орден Ленина... Что-то похожее от того букета осталось в памяти. Почему-то вспомнился первый костер из далекого детства. Именно тот, первый, а не те, что ежедневно у твоих ног. И мать вспомнилась. И отец. И недоверчивые взгляды тех аксакалов, с которыми еще там, в Ак-Тале, училась зоотехнии. Подумала вдруг: это они помогли ей проложить новую дорогу к большому мастерству чабана.

— Мне вручают орден, а я шепчу: «Спасибо... Спасибо». Шепчу своему детству, тем аксакалам, а все заслоняется одним большим и нежным, как мать, словом — Родина. Это ей... За ее внимание к человеку гор.

#### Стоянка на Кара-Кёль

Черное озеро в голой степи. Безжизненное озеро. Вокруг ни травы, ни кустика. Воды его непроницаемы. Совсем рядом — белые шкуры солонцов. Светлеет озеро ясными вечерами, когда солнце, зацепившись за ледяную верхушку Чагана, еще не покинуло совсем Чуйскую степь, когда по суровой с виду, обнаженной полупустыне,

мчатся от надвигающихся сумерек светлые блики уходящего дня,— тогда Кара-Кёль вдруг расцветивается золотыми искрами до самого дна. Сверкает. Переливается. Живет. И еще, наверное, потому живет, что любит в этот час послушать, как играет на своем топшуре хозяйка стоянки Соен.

«Мамий,— спрашивает себя высокий, широкоплечий, суровый с виду алтаец, пощипывая отвисший ус,— сколько же лет твой жене?— В глазах его хитринка. Медноскулое от загара и ветров лицо вмиг покрывается добрыми морщинками.— Может, двадцать, а?»

Он слушает песню, доносящуюся из анла, тугой, глуховатый басок топшура и смотрит, помолодевший в эту минуту, на Черное озеро. Он не хочет показать посторонним свое волнение, которое приходит к нему всякий раз, когда слушает, как играет жена, провожая солнце. Ведь солнце — друг чабана. С ним можно каждый раз вести долгие разговоры. Оно каждый день видит страну. Видит много-много людей. И дела, наверное, их видит. Почему же оно не всегда с человеком? Бывает, что целую неделю, а зимою и целые месяцы вокруг только голая степь, горы, сторожевые псы да отара... Тогда и солнце редко показывается. Видно, и ему прохладно висеть в ледяной бездне на виду у всех. И оно заволакивается тучами. Тучи — это все равно что добротные овчины...

— А может, действительно, Мамий, твоей жене — двадцать?..— Мамий привычно отгоняет посторонние мысли, но одна, захватившая его, вызывает воспоминания. Конечно, Соен не больше двадцати. Вы же слышите ее песню? Так может петь только молодое сердце.

Песня — это горячий аржан<sup>1</sup>,  
В нем утоляет жажду сердце.  
Если хочешь скорей постареть —  
Забудь совсем про песню...  
Песня — это светлый аржан...

Гудит, звенит топшур под умелой рукой пастушки. Слегка гортанный сильный голос летит к подножию Чуйских альп, которые совсем рядом, до которых полчаса ходу на добром коне. Наверно, и этим горам, никогда не снимающим свои ледяные каски, тоже приятно послушать

<sup>1</sup> Аржан — ключ, родник целебный (алт.).

песню. Стоят сторожевой заставой, будто сказочные богатыри. Суровые, строгие. Служба такая. Ничего не скажешь. А вот в этот час и они, кажется, добреют. Ласковой посматривают на степь. «А ведь скоро нашей стоянке четверть века,— вдруг подумалось Мамню.— У нас с Соен есть о чем вспомнить». И тут же пришли на память те трудные годы, когда тут вот, на их стоянке, родилась первая в их родном колхозе «Мухор-Тархата» опытная отара коз-пухоносов. Пятнадцать лет работала над пухоносами ученая, зоотехник из Горно-Алтайска. Ее звали все Окулич. Сильная женщина. Пятнадцать лет в этой полупустыне, а ведь она городская. К удобствам разным привычная. В этой отаре все ее богатство. Душа. Ум. Сердце. А самой уже нет. Человек всегда должен к чему-то идти. Стремиться. Окулич оставила о себе хорошую память.

— Ну, пуще глаза храните отару,— сказали им с женой на правлении колхоза.— В ваших руках наше будущее.

Будущее колхоза. Это не шутка. Помнишь, Мамний, на фронте, когда ты ходил в разведку с ребятами, какими словами напутствовали вас: «Фашисты хотят вырвать у нашей страны завтрашний день. Не пустим этих варваров на порог нашего светлого завтра!..» Так говорил политрук. «Так, так,— вторило ему сердце Мамня.— Так». Грустные песни пела тогда Соен: «Где-то далеко от нас есть такая страна со страшным названием Война. В этой стране дышит смерть. Там мой любимый муж сражается со злыми Эрликами. Летят из той страны черными перьями растерзанной птицы, летят по всем уголкам родной земли страшные известия: «Пал смертью храбрых...» Эти перья застилают солнце, и я не хочу, чтобы хоть одно из них, покружившись, упало у моего аила... Ты слышишь, Мамний, как гудит мой топшур? Он поет о жизни».

И черное перо не упало возле аила Соен... Теперь им предстояло вместе с Мамнем сражаться за будущее колхоза.

На заседании правления, прощаясь, Окулич-Казарина сказала:

— На руки, на ум и смекалку Курдяповых я надеюсь. Будущее колхоза в надежных руках. Ну, а я ваш постоянный гость и советчик, Мамний.

— Нет, вы не гость, Лидия Владиславовна,— сказала Соен,— вы хозяйкой будете на нашей стоянке.

Ах, Соен... Следовало бы не женщине, а ему, Мамию, сказать так. Но ведь все знали, что Мамий и Соен — это все равно что один человек.

— Да, Окулич, — подтвердил Мамий, — пухонос вы вырастили. Нам остается только беречь богатство.

Окулич, эта высокая, сухощавая женщина, покачала головой:

— Нет, Мамий, не только беречь. К будущей весне вы должны подарить колхозу новую такую же отару.

...Падает солнце разомлевшее, распаренное за горы. Вот уже и озеро потемнело, а в анле все еще гудит топшур.

Песня — это светлый аржан.  
В нем утоляет жажду сердце...

Это сердце Соен поет. У Мамия на сердце тоже светло и хорошо. Неудобно, чтоб знала об этом жена. И поэтому Мамий стоит у озера рядом с отдыхающей отарой. Сильная штука — песня. Наверное, Соен догадывается об этом. И ей приятно будить песней воспоминания.

...Стоял месяц малых морозов. Чуйская степь была холодна и гудела, как бубен шамана. Ветры, срываясь с белков, носились по ней дикими куранами. Колючий ледяной песок висел в воздухе. Мамий еле добрался до Тархаты. Насквозь продуло в седле. Кое-как отогрелся горячим чаем, пошел в контору. Надо было поругаться из-за концентратов. Сколько раз обещали, а транспортники так и не появляются. Зря настраивал себя на сердитые слова. Транспорт был занят как раз на заброске того концентрата из Онгудая. Расстояние около трехсот километров, и машины не успевали в сутки больше одного хода сделать. Да и далеко ли уедешь на старых довоенных «полупторках»! Озадачил председатель.

— Как там Окулич? Добралась?

— Окулич? — удивился Мамий. И все понял: поехала одна, не нашла стоянку, блуждает где-нибудь по холодной степи.

Молча вскочил Мамий и бросился к двери. И только уже далеко за селом расслышал топот копыт. Оглянувшись, узнал председателя колхоза. Тот догнал его верхом на коне.

Исколесили всю степь. В предгорье по дороге к Джазатору сворачивали. Уже к рассвету, валясь от усталости из седел, подъехали к Кара-Кёль.

У аила стоял конь Окулич. Мужчины переглянулись. Молча вошли в аил. Ярко горел костер. В котле кипел чай. На лежанке, укрывшись тулупом, спала женщина.

— Спасибо, Соен нашла, — рассказывала потом Окулич. — Упала с коня и — ногой о камень. Лежу, не могу пошевелиться... Нога на глазах пухнет.

— А я смотрю, конь идет и повод переступает, — подхватила Соен. — Бегу по его следу...

— И спасла. Как только дотащила?.. — морщится от боли Окулич, а сама уже подсмеивается над собой.

Вскоре боль в ноге утихла. Неделью прожила Окулич на стоянке. Всех козочек осмотрела. Радовалась, как школьница. Гребень-скребок привезла пух чесать. Все говорила:

— Это примитив. Придумаем получше, посовременней.

...В месяц первой жары приехала из Горно-Алтайска. Провела первую ческу пуха. По триста граммов пришлось тогда на круг. Подсчитали огромное богатство! Каждая козочка — легкая пуховая шаль!

— Года через три в новой генерации пуху будет больше. Уверена! — говорила она, прощаясь. Уехала и больше не вернулась. Осталось доброе дело хорошего человека.

Но дело надо вести дальше. И в этом тебе поможет твоя жена, Мамий. Помнишь, как она, будто ученый зоотехник, ухаживала за пухоносами? Что ж, она, конечно, многому научилась у Окулич. И недаром в те последние приезды Лидии Владиславовны Соен все ходила за ней, выпытывала, запоминала.

...Отара росла. Вот уже две отары стало. Передали на другую стоянку. Колхоз столько получил пуха, что его хватило бы уже принарядить всех женщин района в теплые шали. Дорого платило за пух государство. Не жалело денег, и колхоз это почувствовал. А потом подули недобрые ветры... Были такие годы.

Гудит топшур. Зовет куда-то. Вот и в тот вечер Соен вернулась из райкома светлая. Радостная. Взяла в руки топшур. Но эта радость нелегко ей досталась. Помнишь, Мамий, сколько было тревоги на этой стоянке, в семье, когда какой-то уполномоченный потребовал сдать отару пухоносов в счет мясopоставки? Он говорил: «Область в прорыве... страна требует мяса, в мясе нужда». Кто он,

этот недобрый человек? Какими дурными ветрами занесло его тогда в Чуйскую степь?..

Безжалостно зачеркнуть пятнадцать лет работы над породной группой пухоносов может только человек с повязкой на глазах. А что ему за дело до этой работы?..

Уже сдали одну из отар, не сумело отстоять правление. Тогда Соен и поехала в райком. И спасла остальных пухоносов.

Новый председатель колхоза — человек зоркий, хозяйственный, Николай Сейсекенов. Он умеет прислушиваться к людям. За эти годы снова пошли в рост отары пухоносов. Их теперь и в соседних районах много. А стоянка у озера Кара-Кёль во весь голос заявила о себе — по пятьсот граммов пуха дали козы. На руках у Курдяповых не только пухоносы, но и отара тонкорунных овец.

Знатный чабан Мамий стал членом обкома партии.

Не прошло мимо Кара-Кёль время. Не оно ли это посылает на Кара-Кёль то одну делегацию животноводов, то другую? Мудрости учатся у Курдяповых. Приезжали араты из Монголии. Значит, слава Кара-Кёля не знает границ.

Человек и время... Они рядом идут.

### Хозяйка Ак-Тала

— Песни идут с Ак-Тала, — говорят в степи Тяньс-Тобе.

Может, песня и есть хозяйка высокогорного села? Отчасти так. Но все-таки истинная хозяйка Ак-Тала Афуза Амеренова. Она председатель сельского Совета. Тогда при чем же здесь песня? Вот тут-то мы и свернем чуть-чуть в историю.

До того как стать председателем, Афуза работала в селе библиотечарем. Тот, кто думает, что работа эта спокойная, глубоко ошибается. Уже через месяц черноглазую библиотечаршу знали на всех стоянках колхоза имени Калинина. А их, стоянок, летом немало — более пятидесяти. Далеко в степи заметна боевая девчонка. Еще и коня ее не видно, а уже на стоянках выходили встре-

чать. Выходили навстречу песне, с которой не расставалась Афуза. Молодые чабаны сломя голову выбегали на дорогу и подстраивались к ее песне.

— Ах, как поет эта самая библиотекарьша! — восхищенно прищелкивая языком, говорили старики. — Вместе с книжками она всегда захватывает в дорогу хорошую песню.

А девушка прислушивалась не к тому, что о ней говорят на стоянках, а к песням других. Ведь при ней не хочешь, да запоешь! Вот в одном месте взяла на заметку чабана, в другом... А когда встретилась с Чаймарданом Аbugалимовым, с его семьей, устроила тут же на стоянке настоящий концерт. Чаймардана, домбриста и песенника, хорошо знает вся область, а тогда...

— Нет, ты не упрямясь, Чаймардан, — говорила Афуза, — твой голос не только эта степь да отара твоя должны слушать. Ты будешь гвоздем нашей программы. А не согласишься — пойду в парторганизацию. Ты коммунист. Учти. Ты не хозяин своим талантам. Народ хозяин.

Вот так и действовала Афуза, организуя концертную бригаду.

Ну, а потом, когда прошло несколько лет, об этой бригаде знаете что сказал на смотре сельской самодеятельности в Новосибирске композитор Мурадели?

— Наконец-то на сцене настоящие сельские исполнители.

Может быть, немножко и не так сказал он, во всяком случае очень доволен остался концертом. Тогда песенники из далекого Ак-Тала и получили дипломы первой степени...

Афуза Амеренова была хорошим общественником. Жители Ак-Тала избрали ее депутатом местного Совета.

Афуза ездила на стоянки. Раздавала книги. Собирала прочитанные. Вела беседы. А когда просили ее спеть что-нибудь, она подсаживалась к костру, и голос ее, чистый и звонкий, как струна домбры, летел далеко в степь, волнуя и радуя людей.

Обратила внимание: не раз приходилось подвозить ей мальчишек и девчонок, возвращавшихся из школы на стоянки. Подумала: «Непорядок это. Мало ли что может стрястись в дороге с ребятами». Настояла, чтобы обсудили на сессии вопрос об интернате. Школа растет.

Из начальной уже восьмилетней стала. А разве будет хорошей успеваемость, если дети чабанов со стоянок пешком ходят?

— Вот вы, Нугуманов. Человек вы всеми уважаемый в колхозе. Разве вы захотите, чтобы ваш мальчишка позорил отца плохой успеваемостью?

Знала, как найти тропки к сердцам депутатов, Афуза!

Чабаны пошли к председателю колхоза, на правлении вопрос поставили. А председателю разве хочется, чтобы дети колхозников неучами оставались. Сейчас в Чуйской степи другое время наступает. Одними легендами да мечтой большому делу не поможешь. С тех пор как возглавила Совет Афуза, пошли разные перемены в селе.

Открыли для школьников интернат. Пока всего на пятьдесят ребятшек.

— Будем прируб делать к зданию,— говорит Афуза.— Большие дела почти всегда с маленьких начинаются.

Вот и в судьбе Афузы так же. Заметил народ, что мало для деятельности девушки должность библиотечарши стала. Пусть расправит крылья да взлетит повыше.

Комсомолку Афузу избрали председателем сельского Совета. Ох, большое это доверие! Еще не было такого в жизни села, чтобы молодая женщина по делам своим мудрым аксакалом стала. Испугало ее на первых порах такое доверие. Что там говорить, старики подозрительно щурились при встрече с ней. Выжидательно приглядывались. Уступит дорогу пожилому человеку или, небрежно кивнув, пройдет мимо, не заметит?

Но напрасно беспокоились аксакалы. Не такая была Афуза, чтобы не почтить старого человека. Не только дорогу — место свое уступит старику. Садись. Беседуй и знай: к твоему слову всегда прислушается Афуза.

Как-то она собрала одних стариков. Нет, не обойтись ей без седобородых. Торжественно поглядывали они друг на друга.

Афуза повела разговор издали. Она сказала, что приятно видеть молодого человека, который уважает лучшие обычаи народа, почитает и слушается старших.

— Но разве в Ак-Тале нет таких, которые разучились ломать шапку перед старшими по годам?

— Есть, есть такие, Афуза,— загудели старики согласен.

— И такие есть, которые готовы обидеть человека грубым словом или непозволительными выходками.

— И такие есть, Афуза. Позор на нашу голову.

— А чтобы не было этого позора, давайте вместе растить здоровую молодежь. От нас это зависит...

Вот так и случилось как-то само собой, что аксакалы села стали активными помощниками сельского Совета в воспитании молодежи.

— Мы что же, вроде дружинников теперь? — удивились старики. Но, подумав, не нашли в этом ничего обидного для себя. Кому, как не аксакалам, учить хорошему тону молодежь. Кое-кто обиделся. Увидел в этом ущемление стариковского самолюбия. Получилось так, что вроде окрутила вокруг пальца их Афуза. Но разве на плохое позвала она? Вроде бы нет... Ну, отойди в сторонку, не помогай. А прибавится от этого почета тебе, нет? Похоже, что нет. Пожалуй, не на что и обижаться. Только зачем это она всех женщин взбаламутила? Совет какой-то специальный организовала. Что же, бабья власть, что ли, наступает?

Было о чем подумать аксакалам, но службу они свою несли исправно.

А все же к этому женскому совету приглядеться надо. Руководит им учительница Бадан Ахтасва. Они всегда вместе — Бадан и Афуза. Можно прийти и присмотреться, чем этот самый бабий совет занимается?

— Пожалуйста, будем рады,— приняли в женсовете стариков.

Сидят несколько молодых и пожилых женщин, вышивают. Самые, пожалуй, искусные в этом деле женщины.

Хорошее дело! Что скажешь? Ну и Афуза. Вышивать — это хорошо. Только к чему учить этому тех, кто уже давно мастером слывет? Молодых девчонок учить надо.

— Будут. Обязательно будут учиться, — пообещала обходительная Бадан. — Это мы к районной выставке прикладного искусства готовимся.

...Когда в отарах начался массовый окот овец, женсовет переполошил всех женщин села и молодежь. В это время каждый человек дорог на стоянке. Не хватает, как всегда, сакманщиков — отары растут, как на опаре. Что ни год, то новые отары прибавляются. За членами жен-

совета на стоянки вышли даже древние старухи, не говоря уже о девушках и парнях.

Может, отправиться туда же всей стариковской дружиной? Там самая горячая работа...

Не аксакалов, конечно, это дело — ягнятишек принимать...

— А зачем принимать их? — удивилась Афуза. — Совет нужен добрый для молодых сакманщиков.

Нет, совсем не позорное дело — помочь умным советом молодым. Кто, как не аксакал, поможет им в этом?.. Афуза не приказывает. И даже не просит ни о чем. Она высказала общезвестную истину.

Ну и Афуза... Опять же ничего не скажешь против. Вся бы такая росла молодежь в селе, как Афуза. И ничего нет обидного в том, что она платок носит и длинную косу. Не в косе, похоже, дело. И не в каждой седой голове — ум.

...Афуза Амеренова. Вот такой она и видится за всеми большими общественными делами и начинаниями в селе.

И песню не потеряла.

— Теперь наши песни законные. Прямо, можно сказать, на исполкоме Совета рождаются, — смеются в Ак-Тале.

Сейчас почти в каждой семье есть домбристы и певцы. Концертная бригада — лучшая в Кош-Агаче. И женсовет отличился. Он наладил хорошее медицинское обслуживание не только села, но и всех стоянок. Настоял, чтобы в селе была своя общественная баня. Хороший клуб... А на выставке прикладного искусства искусницы Ак-Тала получили первую премию.

И за всем этим видится умелая рука Афузы, ее неумный характер и смелость в делах.

— Вот такая она, наша Афуза, — говорят с почтением жители Ак-Тала.

### Ветка старого кедра

Давно это было. Так давно, что даже моя таянам<sup>1</sup> охотно говорила об этом только тогда, когда приходилось ей досыта ячменных лепешек поесть. А так как это

<sup>1</sup> Т я н а м — бабушка (алт.).

не каждый день случалось, то и вспоминала о том времени совсем редко. Вот в те далекие времена и откочевало несколько семей алтайцев в эту Курайскую долину. Хорошую травку для овец обнаружили под самыми отрогами Актру. В горе жили недобрые боги, и люди боялись подходить к ней ближе, чем на день пешего хода. Это сейчас посмеялись над теми богами. А в то время всего боялись люди, потому что были сами детьми природы. И вот нашлись смельчаки — откочевали почти к самым отрогам. Не побоялись. Среди них и отец моей бабушки, Будый, был. Вот откуда наш сеок, племя наше, от смелых людей. Это они первыми поставили свои айлы в том месте, которое теперь Кураем называется...

Все интересно, о чем говорит бабка Адыкенова. Потому около ее очока<sup>1</sup> всегда и людей много было. То, что она помнит из рассказов стариков, ложится интересной историей большого современного села. А история, она ведь через судьбу людей проходит. Теперь, конечно, трудно сказать, когда здешние животноводы себя курайцами называли, а что они не побоялись суровой Актру — это говорит о многом, и прежде всего о том, что без душевного бунта тут не обошлось. И решились на перекочевку почти к самому подножию зловредной горы действительно смелые и мужественные люди. Не побоялись козней горы. А козни у нее разные были. То ни с того ни с сего задует вдруг бураном, когда в долинах уже цветы проклюнутся, то в самый окот град величиной с куриное яйцо напустит, а в месяц большой жары все низины водой затопит. С ней шутки плохи, с этой горой, где гнездились недобрые боги... И прошел не один десяток лет, прежде чем люди поняли, что не боги тут всему голова, а просто закованная навечно в лед Актру. И хотела бы, может, добро принести людям, да не могла, — холодом дышала сама. А когда пастухи в жаркие дни подняли по ее отрогам стада к альпийским лугам, и она подобрела — не пустила вслед за ними разный гнус: паутов, слепней, комаров.

— Добром обернулась к людям, — заключает Адыкенова, хозяйка целой династии животноводов. — Может, гора давно хотела быть такой, да только сами люди боялись ее, думая о ней, как о живом недобром духе.

---

<sup>1</sup> О ч о к — очаг (алт.).

Есть что сказать, о чем поведать людям Софье Адыкеновой. За ее плечами долгая жизнь. На девятый десяток нанизываются годы. Одни за другим идут себе чередой...

— И все разные, — говорит она. — На последние шибко обижаюсь: уж очень быстро бегут. Надо бы наоборот... Когда трудно жили, им бы во всю прыть бежать, а они еле-еле двигались. Теперь вот совсем легко и богато зажили, им бы можно и помедленней идти, а они, будто буйная Чуя после дождика, торопятся, не оглянутся.

Еще год назад стоянка Адыкеновой была местом, куда раз в год на ее именины съезжалась бесчисленная родня: сыновья, дочери, внуки. А теперь вдруг стали ежедневно встречаться. Вот ведь как все это неожиданно получилось! Никогда бы не подумала, хоть и самая старшая она в роду Адыкеновых, что можно вместе жить... Совсем, оказывается, не обязательно делиться по стоянкам.

Софья Адыкенова родилась в Елангаше. Тут и мать с отцом жили. Каждый камень знаком. Каждая даже небольшая перемена в урочище заметна глазу. И совсем это получилось неожиданно: решили в Елангаше культурный центр построить. Двадцать с лишним стоянок объединили в поселок. Теперь на стоянках будут только сменные чабаны.

Все предусмотрели умные люди. И клуб, и магазин, и медпункт, и, конечно, домики для животноводов. А в них газ, телевизоры. Ну, одним словом, будто у городских жителей.

Как-то забегает Сашка. Он Адыкенов тоже. Внуком доводится Софье. Спокойным этот Сашка никогда не бывает. Забегает и с порога кричит:

— Тянам, идите скорее в магазин — свежие огурцы привезли.

Посмотрела старушка на заснеженную поляну, покачала осуждающе головой:

— У меня, Сашка, несколько сыновей было... Сейчас — мужики все, вон Турдубая взять, или Будыя, или Якова — они в твои годы врачки и не нюхали...

Ах, этот Сашка! Он настоящий артист, хотя и чабаном работает! Всех готов разыгрывать. Вот и сейчас смешно тянет:

— Огурчиков хочу, тяанам. А в магазине, говорят, сначала продадут людям уважаемым и ветеранам труда. А вы и заслуженный человек и ветеран... У вас и орден есть трудовой и медали...

Да, свежие огурчики в Елангаш привозят из Курая — там теплицы теперь действуют. На дворе зима, а в магазине весенняя зелень: и лук, и редиска, и огурцы бывают. Это приятно.

— Молодежь как-то не замечает этих чудес,— говорит хозяйка большой семьи Адыкеновых.— А старики не могут нарадоваться таким переменам... Кто бы подумал, что пастух не будет кочевником, а как все, отработает свои часы, остальное время для семьи останется.

Нет, вы посмотрели бы на парней наших и девчат, что с ними творится! Даже эти тихони — Лена и Наташа, мои внучки. Работают чабанами, а как вечер — принарядятся, и не удержишь... Клуб-то пока еще не устроен как следует. Вот они и стараются там, отделяют и библиотеку, и читательную комнату... Торопятся. И понять их можно: теперь они вместе. Вместе обо всем и думать приходится. Или взять этих малышей... Жили на стоянках до семи лет, будто дички. Отправят их, бывало, в интернат, в Курай или в Чаган-Узун, а они удирают оттуда — не привыкли с людьми-то... Плачут. И матери тоже плачут: не хотят ребенка в интернат отдавать.

Много прожила лет, а, пожалуй, самые яркие и радостные — это годы последние. Конечно, чтобы за силу взяться и выстоять против бурь, даже дереву надо крепкие корни пустить поглубже в землю. А человеку тем более. Но как определить, какой год тяжелее, какой легче? Наверно, по своим же делам и можно найти эту самую мерку. По делам тех, у кого твоя кровь в жилах течет.

...Неторопливая вязь воспоминаний. Слушая Софью, невольно вспоминаешь похожую картину: охотник у костра. Говорит образно, мудро:

— Любуюсь всегда кедром. Посмотрите, какая у него осанка горделивая!.. Ни одно дерево не может сравниться с ним. Гляжу вот так, любуюсь им и думаю: это ведь он сам засматривается на свои голубые лапы, усеянные рясно-рясно шишками... Значит, доволен тем, что не просто густой голубоватой колючкой богаты они. На них плод. Плод, нужный другим...

Это она о кедре И кажется, что у этой спокойной мудрей женщины многое от того могучего кедра. Она издала, будто со стороны, оглядывается на череду лет и вместе с ними, с событиями, которые не могли пройти мимо, не задев как-то ее бытия, входит в мир детей. А мир тот светел и чист. И это приятно ей. Она горда детьми. Ведь старость живет их радостями и печальми, их счастьем и даже мечтой... Да, да, мечтой, потому что мечта — сильнейшее средство от всех недугов.

— Адыкеновых у нас целая бригада,— говорит секретарь колхозного партбюро Николай Еликов. Он бы мог охарактеризовать все веточки, которые отпочковались от адыкеновского дерева, но ему и самому хочется услышать мнение о каждом от старейшины рода.

— Вот она говорит, что больше, чем в других, узнает себя в дочери Бараболе, беспокойной и горячей. Дочь действительно такая. От нее трудно отбиться колхозному начальству, когда надо что-нибудь выхлопотать для отары.

— Это так, Николай Бочкович?

— Не могу не согласиться,— улыбаясь, весело подмигивает нам секретарь.— Настойчивая Барабола. А вот про Эркемей, говорит, не могу сказать то же самое. Спокойная очень...

— Зато Сашка у нее уже всем делом, как заправский мужик, заворачивает,— вставляет Еликов и говорит это ей по-алтайски.

Лицо Софьи Адыкеновны светлеет.

— Э, Сашка-внук будет настоящим животноводом,— говорит она уверенно, на минутку задумывается и озабоченно спрашивает о чем-то у секретаря. Тот отвечает. Несколько минут они оживленно беседуют на своем родном языке, потом он говорит про старшего ее сына Буда:

— В Ростове он с семьей. Оторвался как-то. Свою дорогу нашел. На заводе работает. Пишет редко. Придется напомнить ему. Она о внучатах думает. Переживает.

Потом разговор идет о Якове, Рақыме, Турдубае...

— Яков у нас лучший механизатор,— говорит Еликов.— Мы его заведующим гаражом колхозным назначили. Человек дела. А Рақым и Турдубай старшими чаба-

нами трудятся. И дети идут по стопам отцов. После школы остались в колхозе и помогают родителям.

— С Елангашем это вы хорошо придумали, — говорит Софья Адыкеновна. — Молодым теперь будто в солнечный день — далеко стали видны все тропки. За молодых ведь сердце болело.

Большая семья, большие заботы. Семь детей, более двадцати внуков...

И хорошо это и трудно. И все-таки, наверное, хорошо... Молодые ветви от одного дерева поднялись дружно. И на каждой — плоды зреют. И кедрю с высоты они хорошо видны. Поэтому он и крепок еще и бодр.

## Над Катунью- рекой

### Беловодье

Катунь отгораживалась от людских глаз неприступными скалами. Бросала навстречу человеку крутые перевалы. А он шел, преодолевая одно препятствие за другим. Кидал через бурные речушки мостки, строил переправы, врубался в скалы, прокладывая себе путь вперед. Вот и Уймонская долина. Здесь верховье Катунни.

На десятки километров размахнулась степь. Заросли березняка и краснотала по берегам речушек. Высокие травы в балках и низинах. Простор. Раздолье.

Припадал к реке уставший конь. Перекинув повод, сходил на землю пораженный невиданной красотой путник. Вечерами над речной долиной вился легкий дымок костра. Всплескивалась в Катунни неведомая рыба.

По тропам кочевников шли неутомимые искатели легендарного Беловодья. Они бросались врукопашную с первобытными силами природы. И побеждали.

Вот уже по берегам Катунни, в долинах гор появились деревеньки, запахивались земли. Дикие травы ложились в стога. Колосились пшеница и ячмень. Наполнялись янтарные соты пахучим медом. Приволье. Но люди отгораживались друг от друга глухими заборами. Лохматые свирепые псы сторожили стада и усадьбы. Не было того легендарного Беловодья и в этих сказочных местах. Межи благодатных земель не раз орошались кровью меж-

доусобиц. Жажда наживы пробуждала звериные инстинкты, узаконивались неписанные обычаи о праве на жизнь. Люди хоронили за тесовые ворота и ставни свое маленькое счастье и радость. За семью печатями каменило сердце.

Нет, не такого Беловодья искали люди!

Плыла над Катунью печальная песня. Не раз в ее зеркальные воды гляделись заплаканные глаза... А степь как и была. Вот она, под копытами стелется. Такая же безбрежная, как и тогда, в цветах и травах. А над нею звенящая трель жаворонка.

О том далеком, былом напели нам струн белопенной Катунни. Река и сейчас загадочна и строга. Только на расцветенных берегах ее теперь другие песни. Полнее радость. Потому что это радость не хуторянина, прятавшего в прохладных омшаниках свое счастье и гордость, это радость свободного человека. Завоевав свое право на большое счастье, человек принес с собой в Уймоонскую долину сады. Заставил работать на себя машины. Сравнял межи. Оттого человек теперь далеко виден в той степи. Он идет прямой, открытый, не прячась, не таясь от «дурного глаза», как и положено человеку большой судьбы.

#### Тюнгур — слава героев

Мрачна у Тюнгурса Катунь. От хвойного леса ложатся черные круги на омуты и перекаты. На тропе пробиваются родники и стекают в Катунь. Вода их темная в тени деревьев, и оттого кажется, что это сочится кровь героев, пролитая здесь, когда на Алтае гремела гражданская война.

Если б могла река подать тогда сигнал на красногвардейскую заставу у Тюнгурса о том, что по темным уремам правого берега реки непроходимой тайгой вот уже вторую ночь крадется дикая ватага: жестокий, смертельный враг — каратели. Тогда, может быть, не было бы предательства и того страшного часа, когда расстреливаемый в упор из засады, на каменной тропе истек кровью красногвардейский отряд Петра Сухова... Если бы можно было захлестнуть волной предательскую заставу!..

Слева от тропы — скалы, крутые склоны высокой горы Байды. В тот день немногие из суховцев, раненные и обессиленные, поднялись на вершину ее.

...А несколько дней назад в селе Катанда в штабе добровольческого красногвардейского отряда, прошедшего с боями сотни километров по степи и горам, решался вопрос: как быть? Плохо зная местность, преследуемые крупным казачьим карательным отрядом, суховцы отходили по единственной дороге — через долину, на Громотуху, Усть-Коксу, вниз по Катунь — на Катанду и Тюнгур.

Это была ловушка.

— Где наша ошибка? — мучительно думали командиры, ища выход. Вспомнили разбежавшихся проводников из Абая.

— Предательство, — хмурясь, устало потирая худое, изможденное лицо, мрачно заключил Сухов. — У нас теперь единственный выход — прорваться в Монголию. Значит, одна дорога: вниз по Катунь, на Тюнгур, а там тропами или на Аргут, или вверх по Чуе... Другого пути не вижу.

И никто из командиров его не видел.

— Приказываю: усилить заставу по дороге на Коксу. Разведке с наступлением сумерек незаметно выйти в сторону Тюнгура. Разведать дорогу до впадения в Катунь Чуи. Завтра топить бани. На сборы двое суток.

Пройти незаметно Тюнгур разведчикам не удалось. Дорога одна: через село. Слева огромная гора, справа Катунь.

И в ту же ночь из Тюнгура, переправившись через Катунь на правый ее лесистый берег, помчался по звериным тропам к Верх-Уймону, на Коксу, посыльный. Нарочный тюнгурского кулацкого подполья. Он поднял отряд карателей, часть из них с пулеметами провел по правобережью за Тюнгур, против узкого каменного притора, в лесу за Катунью зарылась в землю засада.

...Уже у самого села, смяв небольшой арьергард красногвардейцев, отряд стали преследовать казаки. Отстреливаясь, суховцы быстро приближались к притору. Тропа в один конский след. Вытянулись живой цепочкой. И тут — свинцовый смерч из пулеметов...

Петр Сухов с гореткой бойцов поднялся на вершину горы. С ним помощник, совсем молодой Иван Долгих.

Темнело. Укрылись под каменным навесом. Передохнули.

— Тебе уходить надо, Иван,— приказал командир.— Пробирайся на степь. Люди должны узнать о нашей трагедии. Может, отомстить еще сумеешь...

— Не могу, товарищ командир,— решительно потряс головой Долгих.— Как я тебя брошу?.. Вот подкрепимся. Отдохнем... Тут нас сам черт не найдет — и вместе двинем.

Ни укрыться, ни отдохнуть не пришлось. На рассвете их взяли с собаками-волкодавами тюнгурские кержаки-хуторяне...

...Об этом рассказала мне Катунь, да подернутые зеленым мхом камни у притора, да черные в тени молодых берез родники.

А в тот страшный день озверевшее кулачье помогало карателям расправиться с остатками отряда. Они добивали раненых кольями, рубили топорами головы, вешали на воротах. Петр Сухов принял смерть от пули на крутом берегу реки.

— Где мы допустили ошибку? — спросил он перед расстрелом своего двадцатилетнего помощника Ивана Долгих. Этот вопрос видел Иван и в мертвых глазах командира...

Статного, с большими сильными руками Долгих отпросил у офицера катандинский кузнец.

— Ваше благородие! Отдай мне его... пусть почертомелет на общество... Работников, сам видишь, где найти в такое время... А у меня вон, слава богу, двадцать десятин пашни да кузня! Отблагодарим. Не пожалеем!

Смиловивился офицер. Приказал отпустить Долгих.

— Да смотри у меня! — погрозил он Ивану.— Чуть что — на воротах вздерну, как собаку! Забирай его! Да, слышь, лагун медовухи ставь казачкам-то!..

— Да ужотко, ваш благородие... Мигом спроворим,— отозвался кузнец.

Счастливым был каратель: поймал-таки этого черта, Петра Сухова. Будто гора с плеч. Покою не давал. Крепко доставалось от него казачкам. А в капкан пошел... Да и где выход-то был? Правда, из Абая мог бы отряд на Бухтарму уйти, а там казахские степи. Иши свищи...

Теперь, слава богу, отмаялись. А этот парень действительно гвардеец...

— Эй, как там тебя прозывают-то?— крикнул он вслед Ивану, который, потупясь, шел за мужиком, тяжело дыша, молчал.

— Ну? — прошипел подскочивший рыжебородый казак, поднося к подбородку Ивана волосатый кулак.

— Долгих,— опустив голову, тихо проговорил он.

— До-лгих!— повернулся к офицеру казак. Вокруг захохотали.— И взаправду — долгий!

— Ничего,— усмехнулся офицер.— Поукоротят тебя тут мужички, пообломают. К земле согнет долго-то...

Добрый сегодня казачий есаул... Одно-го-то можно и помиловать из ста сорока пяти.

...Кружит, кружит вьюном Катунь, грозная гордая дочь Белухи. Несет по свету страшную весть. На плечи крутого обрыва упал с пульей в сердце командир Сухов. Приняли мучительную смерть и его бойцы в безвестном дотоле горном селе Тюнгур...

А через несколько месяцев ушел из Катанды Иван Долгих. Ушел — и как в воду канул. Зимой 1922 года, когда в селе остановился на постой отряд карателя Кайгородова, прорвался Иван во главе чоновского отряда в триста сабель через Яломанские белки и наголову разбил бандитов.

Это был бесстрашный переход по обледенелым тропам, свисающим над пропастями. Смело рассчитанный, внезапный удар.

Пришло отмщение.

...Заросли партизанские тропы. Но в памяти людской не выветрилась добрая о них молва.

Молодой ельник вырос в могучие деревья.

Только, может, такой же загадочной, голубоглазой осталась Катунь-река. Она видела глаза Петра Сухова и в них немой вопрос: «Где ошибка?»

А ее, может, и не было. Разве у революции, за которую ты отдал со своими парнями жизнь, были торные дороги?!

Те дороги вели в бессмертие.

...Если будете в Тюнгуре, поклонитесь могиле героев. Положите цветы у подножия обелиска. Они, эти первые ласточки большой человеческой весны, приняли как должное мученическую смерть за вас, за эти сады, за ваше счастье.

Тюнгур... Справа — Катунь. Слева — горы. Мирное рядовое горное село, а какая страница вписалась в твою историю, Тюнгур!

...Поля зеленеют от дружных всходов. Отсюда совсем близко заснеженные отроги Белухи. Далеко ушла Катунь от своего истока, сделала круг, чтобы вобрать в свое каменное ложе десятки ручьев и речек. И вот в Тюнгуре она снова подходит близко к подножию родной горы.

Рядом с Белухой — Кара-Тюрек, что значит «черное сердце». Соседка Белухи. Большая крутолобая гора. Там на вершине ее — высокогорная метеостанция. По тропам от Тюнгура до нее — пятьдесят километров.

У Катунни, в окрестностях Тюнгура, зацепившись за гору, рассыпалась на лугу радуга. Красные, желтые, голубые искры упали в траву и горят, искрятся на вечерней зорьке. Это цветы. Они всюду.

Туманится Кара-Тюрек. Легкой дымкой закрывается от долины.

— Метель, — кивает в сторону далеких гор наш проводник и как-то виновато смотрит на нас. Будто он повинен в том, что там уже зима воюет с летом, губит цветы. Он с упоением нюхает их и чему-то улыбается. Конь нетерпеливо переступает ногами и косит горячими глазами на блаженствующего среди цветов парня.

— Неужели буран? — удивляемся мы.

— Точно, — кивает головой парень. — Только еще рановато зиме. Пронесет... Вот в августе все: закрывай двери и ставни. Забудь про цветы...

Он собирает голубые незабудки, разбросанные по косягу, и маленький букетик осторожно вставляет в верхний карман пиджака.

— Страсть моя — незабудки, — тихо смеется парень. — Говорят, это росы с Катунни. Туманами своими она укрывает их от беды. И можно поверить. Правда?

Кара-Тюрек —  
черное сердце

Над вершиной Кара-Тюрека почти всегда клубятся тучи, льют дожди, сверкают молнии, а с середины лета уже мечутся снежные вихри. На небольшом пятачке горы расположена метеостанция. Здесь живут эти парни.

Небольшой домик. Сарай для дров. Баня. Все приборы, а также продукты и дрова доставляются на Кара-Тюрек по горным тропам вьюками. К концу июля годовой припас должен быть на месте — в августе на лошадях уже не подняться.

Живут на высокогорной метеостанции далеко в горах Алтая четыре отважных комсомольца: Геннадий Карпов — начальник станции, Владимир Копылов, Борис Шебалин и Женя Воронков — радисты.

Дежурят ежедневно по два человека. Смена через неделю. Восемь раз в разные часы суток передают по радиоприемнику сводку в Новосибирск. Кара-Тюрек и Белуха играют, пожалуй, ведущую скрипку при составлении синоптических карт Западной Сибири. Высоко поднялись отроги этих гор. Ни одно облачко не пройдет мимо, не покружив над их вершинами. Отсюда из глубоких ущелий вырываются на простор то в одном направлении, то в другом свирепые ветры.

Вот почему так важны сводки с далекой вершины Кара-Тюрека.

В ясные дни далеко внизу видны долины. Весна поднимается к ним уже в середине июня. И доходит она только одиночными цветами-смельчаками: кандыком, одуванчиком да редкой травой. Остальным цветам высота не под силу. И разбегаются они по долинам, устилают склоны невысоких гор разноцветными поясами.

На Кара-Тюреке весна обнажает каменные тропы, скалистые гольцы спускают в долины серебряные косы буйных ручейков, и теплый туман, поднятый с горных долин ветерком, окутывает вершины Кара-Тюрека. В эти дни скользко на тропах. Опасна дорога. И все же в свободное от смены время уходят ребята вниз. Подышать весной. А внизу, в ближайших долинах — село Катанда. Здесь «перевалка» метеостанции. Оттуда один раз в месяц поднимают на Кара-Тюрек почту: газеты, журналы, письма. Тогда целую неделю у ребят праздник. Газеты, журналы зачитываются до дыр.

...Как-то в июле в смену Володи Копылова и Бориса Шебалина Кара-Тюрек взбесился. С нижних долин видно было, как плясала шальная метель на его вершине. «Что же там, на этом пятачке? Уцелеет ли дом? Как ребята?» — с тревогой смотрели на вершину Кара-Тюрека жители села.

А через два дня, когда над вершиной прояснилось небо, на «перевалке» в Катанде приняли с горы сигнал бедствия. Подседлав двух коней, выехал на Кара-Тюрек проводник. Вернулся с Володей Копыловым. Сняли того с седла — и в больницу.

Голько уж позднее стало известно то, что произошло тогда на Кара-Тюреке. Ураган налетел неожиданно. Ночью вдруг свирепо взвыли ущелья. Домик задрожал. Подходило время передачи сведений на «большую землю». Володя с тревогой прислушивался к гулу метели. А ветер наваливался все с большей силой. Вот загрохотали кирпичи выводной трубы на крыше.

— Антенна! -- ахнули ребята и, не сговариваясь, вылетели на улицу.

Крепил концы антенны Володя. Несколько часов в легком свитере пробыл он на пронизывающем до костей ветру.

— Зато закрепил... и сеанс не сорвали, — радовался парень.

...Днем и ночью в условленные часы искрят в эфир позывные на «большую землю»: «У аппарата Кара-Тюрек! Слушайте нас. Передаем данные наблюдения».

\* \* \*

...Со стороны Тюнгурского перевала подскочила на сером коне девушка. Она была в легкой вязанной кофточке, в брюках. Откинув со лба золотистые волосы, весело поздоровалась с нами и нарочито строго прикрикнула на рассказчика:

— Вот он, разлегался! А ну, подъем, дорогой товарищ! Еле дозвонилась до Катанды. Ждут на «перевалке»...

Парень сделал испуганные глаза, вскочил и побежал к своему коно:

— Беда! Беда! Не проводник, а Кара-Тюрек — черное сердце!

Девушка, смеясь, повернула коня к дороге. А потом, когда они съехались, парень нагнулся к ней и передал букетик.

— До свидания, Володя! — крикнули мы вслед.

Парень обернулся и помахал рукой.

В Тюнгуре нам сказали:

— Да, конечно, это был он, Володя Копылов. А девушка — новый проводник Люба Стахова. Отчаянная головушка. Она уже и аппаратуру их всю изучила... А тот

проводник, прежний, который Володю спас, погиб весной, с ледяной тропы в пропасть сорвался вместе с конем...

Смелые парни на Кара-Тюреке. Когда будете тушить костер, взгляните еще раз на эту гору. Если там не шалит метель, вы увидите в утренних лучах могучие отроги Белухи. А появится желание — побывайте у парней. Нелегко подняться на Кара-Тюрек, зато какая живописная тропа ожидает вас!

Ну, а если заря потушит наш костер у Тюнгура и Катунь заморозит своими неугомонными плесами и таинственно-загадочными омутами, идите за ней. Она вас проведет по красивейшим местам нашей области.

### Табунщик из Ороктоя

Это осталось на всю жизнь. Тягучая и легкая, как паутинка, мелодия прорезалась сквозь годы и напоминала о детстве. Звенит, звенит и у костра, и у той вон темной лощины, которая хорошо виделась мальчишке от самого порога айла... И падала откуда-то с неба, будто ручеек. Широко открыв глаза, смотрел мальчишка на этот удивительный мир, полный звуков и блеска.

...Как-то отец привел коня. Темногривый жеребец, недовольно фыркая, нетерпеливо бил ногой. Потом стал грызть коновязь.

Мальчик опасливо отстранился от коновязи. Отец тихо засмеялся:

— Не бойся, Гриша.— (Мальчишку назвали русским именем в честь хорошего знакомого — русского умельца.) — Вы с ним одногодки. Когда ты появился на свет, в табуне жеребенок родился...

Мальчик с завистью посмотрел на своего одногодка. «Красивый, но почему он такой большой, а я даже не выше вот этого пенька!»

Отец легонько подтолкнул в спину.

— Он ждал тебя... Совсем недавно я объездил его, сынок. Хочешь, подсажу в седло?

Мальчик нерешительно потоптался на месте и, подавляя робость, тихо спросил:

— А он не укусит?

— Кусаются собаки, — отец вдруг подхватил сына под мышки, поднял и посадил на лошадь. Тот инстинктивно схватился за что-то жесткое. Это была грива коня.

— Возьми повод... Держи крепче. Покороче бери... Вот так! — командовал отец.

Оказывается, за повод можно держаться... Вот только ноги... Под ними нет никакой опоры.

— Ничего... — подбодрил отец. — Подрастешь, в стремя упрешься. Тогда будешь настоящим наездником... Когда все это было?

Может быть, во сне? Не похоже... Нога же вот до сих пор со шрамом. Так в этом месте, чуть пониже колена, и останется, видно, кожа с брачком. Сейчас уже никакой боли не ощущаешь, да и вспоминаешь редко об этом, а тогда небось ревел, как торбок. И то ведь надо же тому быть, конь решил тут же показать свою прыть: запрыгал, в сторону шархнулся...

Отец и сердился и жалел. Это понял мальчишка. Ему было досадно, что ты свалился под коня, и не рев вызывал в нем жалость и сострадание. Он испугался за твою ногу. Какой животновод из безногого или даже хромого.

— Мальчонка еще только-только выцарапался из рук шайтана, а ты его на коня, — выговаривала мать, прикладывая к ноге какую-то распаренную траву.

Из рук шайтана... Значит, ты болел тогда чем-то? Разве все упомнишь!

А вот слова отца, сказанные с явным сожалением, запомнились:

— Не на козла же мне сажать его!

— Можно и не сажать... Придет время, сам в седло попросится, — пробовала мать защитить сына.

— Ну пусть верхом на палочке ездит до самой жень-тьбы, — обидно бросил отец и вышел из анла.

Это запомнилось. Потому, очевидно, запомнилось, что та обида за свою неловкость родила и вскормила упрямство. Сесть на коня и промчаться, может, по селу из конца в конец стало не только страшным желанием, но, кажется, целью всей жизни...

Потом, когда началась война и отца вместе с другими мужиками провожали всем Ороктоем до паромной переправы, отец все глядел на вершины гор, иногда тя-

жело вздыхал и говорил, говорил что-то матери. Мать растерянно повторяла:

— Разве ты виноват перед той войной? Разве вон те мужики виноваты? Что ей надо, этой войне?

Отец нетерпеливо махал рукой, будто отбиваясь от кого-то, и все смотрел, смотрел на каменные гольцы, на Ороктойскую долину. Все прислушивался к чему-то.

«Он, наверное, никак не может расстаться с той песней, которую поют горы, кедровые заросли... Вон даже Катунь поет», — подумал мальчишка, и ему стало жалко отца.

— Я научусь ездить на коне, ада!<sup>1</sup> — сказал он неожиданно.

— Вот и молодец, Гришка, — похватил отец и потрещал по голове шершавой ладонью. — А потом смотри не пропускай уроков в школе и слушайся мать.

— Ладно, ада... Я буду слушаться...

Может, и не было такого разговора между отцом и сыном. Может, это только детским желанием было. Хотелось сказать отцу перед большой дорогой хорошее слово, подбодрить. Кто его знает, что такое — война? Может, это страшнее даже, чем сесть на коня и промчаться на нем по горной тропе... Отец расстроен, и мужики, и вся деревня тоже.

И дрогнуло страхом и жалостью сердце мальчишки:

— Я научусь ездить, ада... Научусь... А ты там не упади с коня.

— Не упаду. Постараюсь, Гришка...

«Не упаду... Постараюсь...» Мальчишка смотрел с крутого берега на дивное колесико, которое бежало по канату через всю Катунь, уводя за собой дощатый, на двух больших лодках паром. Совсем маленькое колесико, а имеет такую силу! Оно все катилось и катилось к тому, к другому берегу. Катилось рывками. Остановится, отдохнет — и снова рывок вперед. Злое, недоброе колесико... Куда ты, на какую такую войну увозишь людей?! Взять бы хороший камень да запустить в тебя... Но разве докинешь! А галькой его не сбить с такой высоты. Может, уже не раз пробовали мальчишки.

Кажется, тише и просторней стало в Ороктое. Какая-то настороженность и тревога поселились в каждом

<sup>1</sup> Ада — отец (алт.).

апле, в каждом доме. Женщины, всегда охочие до пере-  
судов, стали молчаливее, сосредоточеннее.

...А может, все это не так было... Может, все по-дру-  
гому. И разговор с отцом был иным, и детская клятва —  
это плод пылкого детского воображения. Только года че-  
рез два Гриша Булгыков уже помогал колхозному та-  
бунишку. Боевой, сметливый мальчишка с ранней весны  
до первых осенних опалов, когда ветер легко ошпыивал  
березки и осины, срывая с них желтые листья, пас ло-  
шадей. Табун стал его родной стихией. И пусть не  
вспоминает лихом старый учитель, что резвые жере-  
бята не раз появлялись на обложках его школьных тет-  
радей.

Война подходила к концу. Веселей заговорили радио-  
дикторы. Воины Советской Армии громили гитлеровских  
захватчиков уже на земле Германии. А вестей от отца  
не было. И вдруг...

Это случилось хмурым осенним вечером. Мать позва-  
ли в сельский Совет.

Она вернулась домой постаревшей, осунувшейся. Всю  
ночь не спала. А утром сказала со вздохом:

— Рано тебе быть хозяином, сынок. Но на тебя на-  
дежда... Слаба я стала.

Ах, эне! Зачем говорить об этом. Разве он не видит  
сам?

Звонкими росами, веселыми летними дождями отзве-  
нели, отодвинулись в воспоминание детские годы. По-  
прежнему, разрезая изумрудные воды Катуня, встречает  
людей и провожает их в дальний путь колхозный паром.  
Он с раннего утра в работе. Все новости роятся и ухо-  
дят от него.

Вот на нем группа военных... Один из них, чернявый,  
со строгим разлетом черных бровей, опершись на перила,  
смотрит на стальной трос, по которому, держа в поводу  
паром, с легким стрекотом бойко скользит блок. Пере-  
бежит метра три и остановится, подтянет паром — и сно-  
ва вперед.

«Тогда он так же бегал... Только все почему-то виде-  
лось иначе. В другом свете...»

Это Григорий Булгыков. Он возвращается с группой  
товарищей из армян в родные отцовские края.

Бежит блок. Остановится. И в памяти высветит ку-  
сок жизни.

...Высоко в горах урочище Кульдюш. Крутые склоны, покрытые лиственницей и кедром. Холодный ключик у серого камня. А рядом заросли кислицы. Осторожные жеребье матки. А в синей-синей вышине будто музыка звенит, переливается, заставляет радостно биться сердце.

Это живет в памяти...

Скользит колесико блока. Быстро-быстро. И замирает, воскрешая былое.

...Конь. Ласковый и лукавый. Долго он что-то не рос, прихварывал, но оправился потом, шустрым оказался. Часто с рук подкармливал его. «Эй, Куйрюк!»— крикнешь, а он уже тут, словно ждал, что позовут. Узнает или нет сейчас?..

Бежит, бежит колесико блока по железной струне, высекая из памяти яркие картины.

...Вот тогда, на первый большой праздник осени, в день Октября, председатель колхоза в числе лучших вдруг, показалось, по-особому произнес его имя:

— Григорий Булгыков.

А рядом была Нина... Когда ребята танцевали, она сказала Григорию:

— Не зря тебя хвалят — настоящим мастером своего дела стал. Я была в Кульдюше, видела, как ты обучал четырехлетнего жеребенка.

— Не упал хоть с него?— застеснявшись, спросил Григорий.

— Нет... А как хорошо в Кульдюше!

После этого вечера скучно стало Григорию в том Кульдюше. Так и манило вечерами в село...

Дрожит, позванивает трос. Где-то под настилом струится вода, бьется волной о скользкие бока баркасов.

Все это было будто вчера. Как там она, в Кульдюше? «Тебе нравится Кульдюш? Будь в нем хозяйкой...» Это тогда, перед сватовством. Удивительно, как быстро летит время. На каком скакуне обгонишь его!

...Прошло несколько лет. Мы переправляемся на пароме в Ороктой. И снова, как в то далекое и близкое время, о котором вспоминал Григорий, бежит по тросу шустрое колесико блока...

Знаменитый табунщик Ороктой — в нашем «газике». С ним — дочка. Она уже перешла в шестой класс. Ездили в город. Надо готовиться к школе. А учеников в семье у Григория — не один и не два.

— Целое звено,— смеется табуищик.— Пять человек... Мальчишки? Конечно, и мальчишки есть.— И, взглядываясь в широкую прибрежную долину, озабоченно добавляет: — А ведь, наверно, пора уже и за кукурузу приниматься... Листья жухнуть начинают.

Человек дела... Всего два дня не был дома, но и это время жил делами и заботами родного совхоза.

## Олений парк

### «Разлучник»

Мы едем по долине бурной речушки Отогол. Дорога заметно идет в гору. На крутых склонах по обе стороны дороги смешанный лес. Больше березняка. Отогол мечется у самых колес машины, кидаясь то вправо, то влево, кипит беловатой рябью, кружится, бьет в слепой ярости о камни крутой волной. Он рвется из тесных ущелий на простор, вниз. Мы тоже спешим, но в обратную сторону — к истоку речушки, и тоже с нетерпением ждем, когда раздадутся наконец и отступят от дороги стиснувшие нас горы.

Где-то впереди хмурится туманной синевой перевал. Там, мы знаем, за извилинами ущелий — поля. Широкие поймы Ануя. Но до них далеко, а пока мелькают по сторонам то крутолобые скалы, то буреломник. Дорога в глубоких ранах, будто после бомбежки. Тяжело ныряя на каждом метре в ямы, идет машина.

Но вот дорога круто сворачивает вправо. Мы пересекаем речушку, и перед нами открывается широкая долина. Каменные каньоны позади. Островерхие вершины отступивших гор вырубает голубой кусок неба и на нем — солнце. Оно вырвалось из черной пучины дождевых туч, расшвыряло их по закоулкам ущелий и теперь лежит на одном из зубцов, золотым светом заливая все вокруг. Он искрится в капельках дождя на венчиках цветов, в звенящих струях ручья, на макушках елей и берез. И вся широкая долина под его лучами сверкает, поет, направляет травы и цветы. Показались строения, а слева на широком предплечье горы темноватой строчкой взбежала кверху ограда.

...Высоко в горах урочище Кульдюш. Крутые склоны, покрытые лиственницей и кедром. Холодный ключик у серого камня. А рядом заросли кислицы. Осторожные жеребые матки. А в синей-синей вышине будто музыка звенит, переливается, заставляет радостно биться сердце.

Это живет в памяти...

Скользит колесико блока. Быстро-быстро. И зампрает, воскрешая былое.

...Конь. Ласковый и лукавый. Долго он что-то не рос, прихварывал, но оправился потом, шустрым оказался. Часто с рук подкармливал его. «Эй, Куйрюк!»— крикнешь, а он уже тут, словно ждал, что позовут. Узнает или нет сейчас?..

Бежит, бежит колесико блока по железной струне, высекая из памяти яркие картины.

...Вот тогда, на первый большой праздник осени, в день Октября, председатель колхоза в числе лучших вдруг, показалось, по-особому произнес его имя:

— Григорий Булгыков.

А рядом была Нина... Когда ребята танцевали, она сказала Григорью:

— Не зря тебя хвалят — настоящим мастером своего дела стал. Я была в Кульдюше, видела, как ты обучал четырехлетнего жеребенка.

— Не упал хоть с него?— застеснявшись, спросил Григорий.

— Нет... А как хорошо в Кульдюше!

После этого вечера скучно стало Григорью в том Кульдюше. Так и манило вечерами в село...

Дрожит, позванивает трос. Где-то под настилом струится вода, бьется волной о скользкие бока баркасов.

Все это было будто вчера. Как там она, в Кульдюше? «Тебе нравится Кульдюш? Будь в нем хозяйкой...» Это тогда, перед сватовством. Удивительно, как быстро летит время. На каком скакуне обгонит его!

...Прошло несколько лет. Мы переправляемся на пароме в Ороктой. И снова, как в то далекое и близкое время, о котором вспоминал Григорий, бежит по тросу шустрое колесико блока...

Знаменитый табущик Ороктой — в нашем «газике». С ним — дочка. Она уже перешла в шестой класс. Ездил в город. Надо готовиться к школе. А учеников в семье у Григория — не один и не два.

— Целое звено, — смеется табунщик. — Пять человек... Мальчишки? Конечно, и мальчишки есть. — И, взглядываясь в широкую прибрежную долину, озабоченно добавляет: — А ведь, наверно, пора уже и за кукурузу приниматься... Листья жухнуть начинают.

Человек дела... Всего два дня не был дома, но и это время жил делами и заботами родного совхоза.

## Олений парк

«Разлучник»

Мы едем по долине бурной речушки Отогол. Дорога заметно идет в гору. На крутых склонах по обе стороны дороги смешанный лес. Больше березняка. Отогол мечется у самых колес машины, кидаясь то вправо, то влево, кипит беловатой рябью, кружится, бьет в слепой ярости о камни крутой волной. Он рвется из тесных ущелий на простор, вниз. Мы тоже спешим, но в обратную сторону — к истоку речушки, и тоже с нетерпением ждем, когда раздадутся наконец и отступят от дороги стиснувшие нас горы.

Где-то впереди хмурится туманной синевой перевал. Там, мы знаем, за извилинами ущелий — поля. Широкие поймы Ануя. Но до них далеко, а пока мелькают по сторонам то крутолобые скалы, то буреломник. Дорога в глубоких ранах, будто после бомбежки. Тяжело ныряя на каждом метре в ямы, идет машина.

Но вот дорога круто сворачивает вправо. Мы пересекаем речушку, и перед нами открывается широкая долина. Каменные каньоны позади. Островерхние вершины отступивших гор вырубает голубой кусок неба и на нем — солнце. Оно вырвалось из черной пучины дождевых туч, расшвыряло их по закоулкам ущелий и теперь лежит на одном из зубцов, золотым светом заливая все вокруг. Он искрится в капельках дождя на венчиках цветов, в звенящих струях ручья, на макушках елей и берез. И вся широкая долина под его лучами сверкает, поет, направляет травы и цветы. Показались строения, а слева на широком предплечье горы темноватой строчкой взбежала кверху ограда.

— Это и есть олений парк,— говорит мой спутник Николай Ороктоев, который не раз бывал здесь.

Машина сворачивает к прибрежным кустам и останавливается. Раздается резкий странный свист.

— Олень?

— Да. Предупреждает стадо об опасности.

Из-под берез выплывает коричневое облачко. Оно быстро поднимается кверху, еще миг, и нет его. Исчезло. Будто ветром унесло. Проходит еще несколько мгновений, прежде чем мы догадываемся, что это и было небольшое стадо оленей. И тогда только прорезаются в глазах отдельные детали: снежные крапинки на золотистом фоне, контуры резко очерченных, будто вырезанных гравером темных веточек — пантов, светлая рябь промелькнувших ног.

Но вот со стороны леса выходит на поляну новый табунок оленей. Впереди идет пантач. Тяжелая ветка пантов оттягивает ему голову к спине.

Вдруг что-то треснуло. Пантач вздрагивает, делает молниеносный прыжок в сторону и замирает. Весь табунок повертывает головы туда, откуда раздался подозрительный треск. Смотрим и мы в угол ограды. Из ворот на горную тропу вырывается всадник. Олени следят за каждым его движением. Всадник, не обращая внимания на табунок, мчится все выше и выше. Олени успокаиваются. Но нам хорошо видно, как всадник делает большой круг и начинает заходить к табунку совсем с другой стороны. Вот он спугнул из ложка еще одну стайку и вместе с ней приближается, описывая круг, к нашему табунку.

— Егерь,— говорит Ороктоев.— А вон и второй,— показывает он в сторону леса. Кажется, женщина. Теперь они поведут нужных им оленей с двух сторон.

Олени потревожены на всей огромной площади парка. Табунками, будто бурные потоки, стекаются они в угол высокой ограды.

— Там «разлучник»,— указывает Ороктоев.— Видите, сколько отгорожено клеток? А самая большая, с несколькими воротами — «разлучник». Интересное название, не правда ли?

— Кого же там разлучают?

— Вернее бы сказать, отбивают,— улыбаясь, говорит Ороктоев.— Отбивают тех оленей, у которых созрели панты.

— Видно, неприятное для них место — «разлучник»...

— Конечно, — соглашается Ороктоев. — То место, где ежегодно пантачу причиняется страшная боль, едва ли можно забыть. И олень не забывает его. Чтобы отбить пантача, а потом загнать его из «разлучника» в станок, требуются от егерей большие усилия. Нужны и хитрость, и энергия, и неутомимость. На что не пойдешь, чтобы вовремя снять урожай...

Урожай пантов! Как-то странно звучит в таком сочетании слово «урожай». А ведь это действительно очень ценный живой урожай. Вырастить хорошие панты не так-то просто. Оленеводы имеют дело с полудикими животными. Требуются годы, десятилетия, чтобы олени одомашнились, приобрели привычки ручного животного. Это входит в их повадки по крупнякам, порой едва приметным.

Вот женщина-егерь обгоняет уже спокойно бегущее стадо, останавливает коня и, соскочив на землю, протягивает руки к переднему оленю.

— Сынок, Сынок, — ласково зовет она. — Ты что же, глупый, взбаламутил все стадо, а? Ну, возьми, возьми... Хочешь вкусную корочку поглотить? Вижу ведь, хочешь. Ну, подходи, подходи ближе...

Перебирая настороженно чуткими ушами, пантач неуверенно идет к руке хозяйки.

Час спустя мы знакомимся с ней. Люба Мултуева — егерь оленеводческой фермы. А тот, что первым скакал верхом по парку, молодой, чернявый, статный, с тонкими чертами лица, оленевод Анатолий Мултуев, ее муж. Светло улыбается. Возбуждение еще не отпустило его. Оно светится в глазах, ощущается в частом, прерывистом дыхании.

Из «разлучника» в это время кормачи отбили нужных пантачей в соседнюю клетку. Отсюда они по суживающимся клеткам идут в станок. Пантач шагает осторожно по деревянному полу, и вдруг пол уходит из-под его ног... Олень рвется кверху, но поздно — сжимают с обеих сторон деревянные колодки, и он повисает. Голова его оказывается в крепком хомуте. Мелко-мелко дрожит шея, глаза испуганно расширяются.

Вот тут и встречается олень с Федором Петровичем Кудрявцевым. Мастер быстро, на глаз, определяет пенек среза и срезает пант. Операция эта длится меньше минуты. Вот уже пант забинтован в марлю, и его осторожно

несут в пантоварку для обработки, а пантач неожиданно снова чувствует под ногами твердую опору. Расходятся крылья зажима. Открывается боковая дверь. Пантач встряхивает головой и молнией вылетает из страшного станка на волю.

Мы долго следим за ним. Вот он останавливается. Оглядывается назад и, качая непривычно легкой головой, снова устремляется вперед.

— Сейчас будет носиться по парку, словно угорелый, — смеется Люба. — Пока не устанет или не поймет, что теперь ему ничто больше не угрожает.

Мы до позднего вечера бродим по парку. Хочется узнать побольше об этих интересных животных. Гостеприимная семья молодых егерей Мултуевых охотно рассказывает нам интересные случаи из жизни фермы.

### Обморок

— Вы можете себе представить, — говорит с лукавой смешинкой в глазах Люба, — олень падает в обморок! Да, да, в самый настоящий обморок.

Как-то в минувшее лето отбилась группа пантачей из стада и никак не хотела идти в «разлучник». Уходят в горы и прячутся в ущелья. А панты их зреют на глазах. Упустить момент срезки — значит потерять панты. А у нас каждая веточка на учете. Весной олени вышли с зимовки хорошо упитанными, и все виды были на богатый урожай. Поэтому повадки этих явно уклоняющихся от выполнения своих «обязанностей» пантачей нас очень беспокоили. Мы поочередно следили за ними, не спуская глаз.

Вот и подошло время пожаловать в «разлучник». Еще день-два, и будет поздно: панты начнут твердеть.

Выехала я за группой беглецов с утра. Быстро отыскала их и постаралась выманить на чистое место. Они как будто ничего и не имели против. Покапризничали вроде для приличия, а потом пошли. «Ну, напрасно, — думаю себе, — беспокоилась, все идет нормально. Никакие они не бунтовщики».

Только я так подумала, как, смотря, вожак остановился на горушке, повел головой вправо, влево, потом как засвистит да как взвывается свечкой — и в сторону, в лес, а за ним вся группа. Только и видела их!

Обманул... Ах ты черт, думаю, пестрый! Ну ладно же, я тебя проучу.

Заворачиваю коня — и за ними. Кружилась, кружилась по лесу. Наконец в лощинке, у камня, замельтешило в глазах. Выезжаю из лесу — они. Остановила коня, кричу жожаку (а он стоит спокойно, смотрит на меня):

— Ну как тебе не стыдно, а? Бессовестная твоя морда! Что ты вздумал меня мучить, а? — кричу так, а сама коня вперед подталкиваю.

Приближаюсь потихоньку и все критикую жожака за безобразное поведение:

— На что же это похоже, а? Как назвать такую выходку? Хулиганство, не меньше. Да, да. Ну, пошли, пошли... Ишь ты, саботажник!

Махнула рукой, наезжая на них. Идут. Спокойно идут. Лес прошли. Снова на чистое поле вышли. К той самой горушке подвигаемся. Смотрю, замедлили ход. Совсем остановились.

— Ну, в чем дело?! — кричу. — Чего там увидели?

Жожек снова засвистел. Теперь олени помчались в другую сторону, в самый дальний угол парка. Летят будто на крыльях. Где там успеешь за ними! Однако гоню коня, стараюсь от леса зайти.

Бежит мой конь, разгорячился, удила рвет, под ногами земли не чует, аж страшно стало: а ну как ненароком споткнется — полетишь и костей не соберешь после.

Сжала я зубы, пригнулась в седле, затаилась. Будь что будет! Саботажников все равно надо взять.

На этот раз вымахали они на самый гребень сопки. Выстроились на камне и смотрят на меня сверху вниз. Смотрят и, кажется, будто посмеиваются над моими усилиями.

— Ну погодите же, погодите! — грожу им про себя.

На полпути к вершине горы конь сдавать начал. Перешел на шаг, тяжело дышит. Грызет нервно удила. Недовольно ушами стрижет.

Отвязала я от седла бич. Размотала его. Размахнулась и щелкнула им, будто выстрелила. Пантачей как ветром сдуло с вершины. Однако с кручи бегут осторожно. За рога свои опасаются.

Сбежали в долину. Вижу, бока их залоснились. «Ага, думаю, и вам нелегко». Еду сбоку, со стороны леса. Вот ограда нижняя показалась. «Ну, небось набегались, хва-

тит». Только подумала так, а они, как горох, врассыпную. И снова, заметила я, по сигналу вожака действовали. Рассыпались и ушли в лес... Поворачиваю коня, а сама чуть не плачу. С седла валюсь от усталости, да и конь стал все чаще спотыкаться. Смотрю на солнце и ахаю: уже обед подходит! Да хоть бы подмогу догадались выслать! Ничего мне с ними не поделывать.

— А мы и догадались, конечно.— перебивает жену Анатолий.— Проехал я нижней дорогой, сбогнул тот лес и встретил их. Да сразу внамет. Допеку, думаю, не выдержать им гона. Гоню вскачь и бичом еще подхлестываю.

— Ага,— живо вступила в разговор Люба.— Смотрю, как пули из леса вылетают. Тут и я давай размахивать бичом. Побежали вниз...

— Сломали саботаж,— смеется Анатолий.— Так в «разлучник» и заскочили с ходу.

— Ну, а как же с обмороком?

— Самый настоящий обморок,— оживилась Люба.— Заскочил вожак в станок, вдруг — бац на землю и ноги вытянул. Перепугались мы. Прибегает ветеринар, говорит: «Воды срочно!» А сам нашатырный спирт ему сует под нос: «Нюхай, нюхай, бунтовщик!»

Принесли воду. Облили его. Смотрим, голову поднял, а потом на ноги встал.

— Что с ним? — спрашиваем у фельдшера. Тот улыбается.

— То ли побегал лишнего сегодня, то ли перед станком так оробел. Только самый обыкновенный обморок.

— Посмеялись мы тогда.— продолжала хозяйка парка.— А с тем вожакom у нас теперь дружба...

— Сынок?

— Он самый,— подтверждает Анатолий.— А слышали вы, как смеются олени? Нет? Тут не расскажешь. Это надо самому подслушать.

#### Зов природы

— А что, нужна ли эта дорогостоящая ограда? — спросили мы Анатолия Григорьевича.— Ведь она тянется на десятки километров.

— Уйдут,— коротко бросает егерь.— Зов природы еще силен у них.

— Были случаи, когда этот самый зов уводил оленей?

— Да. Они используют любую лазейку, чтобы уйти из парка. Казалось бы, чего им еще искать? Травы в парке — лучшие в этих местах. Потом, ведь и подкармливаем хорошо.

— О, подкормку они любят, — вмешалась Люба.

— Очень! — кивнул Анатолий Григорьевич. — Собственно говоря, эта подкормка и не дает беглецам отлучаться далеко... Случай у нас был интересный. На одном из дальних участков стояло ограждение из проволочной сетки. Сетка высокая, но в стыке звеньев как-то образовалась небольшая щель. Ее обнаружили олени. Не прошло и часа, как на воле оказалось около сотни животных.

Основную группу беглецов удалось окружить и вернуть в парк. Но около десятка пантачей ускользнули. Дали мы знать в соседние села и хозяйства. Предупредили местных охотников, пастухов. Несколько оленей обнаружили на ближних сопках. Организовали облаву. Гонялись за ними весь день. А время осеннее, на горах выпал снег. С каждым днем становились труднее поиски. Наконец загнали и этих.

Осталось на воле несколько пантачей. Никто их близко не видел. Прошла неделя, другая. Выпал снег и в долине. Начались бураны. Крепчал мороз. Исчезли беглецы. Ни слуху ни духу. Что ж, ушли, похоже, глубоко в горы или на степь вырвались.

И вдруг как-то вечером прибегает к нам телятица с нашей же молочнотоварной фермы. Прибежала сердитая и напустилась на нас: «Пораспустили своих идиотов! Совсем объели, проклятые!» — «Кто? Кого объел?» — всполошились мы. «Да кто же, говорит, почти неделю воюю с ним, чертом. А он поразгоняет телятишек и все концентраты потрескает, идиот. Я его — палкой, а он махнет через ограду, да в лес. Отвернешься на минутку, глядь, он опять тут, да еще и товарища ведет. Замаялась я с ними. Кабы нам вволю того концентрата давали. А что они на силосных траншеях творят... Когда вы образумите их?»

Догадались мы, о ком речь идет. На ферму выехали. В ближнем лесочке следы обнаружили, а потом и беглецов.

Ничего, справно так выглядят. Спины лоснятся.

— Устраивают время от времени быки-пантачи и представления,— продолжал, закуривая и весело переглядываясь с женой, Анатолий Григорьевич.— Да, да. Вроде боев на ринге.

Интересно!

— Да. Дерутся они по-особому. Бараны, козлы, бычки — те на рогах решают свои споры, а вот быки-олени свой стиль имеют. Представление прямо-таки стоящее.

Начинают обычно так. Что-то там не поделят соперники меж собой. Разойдутся в разные стороны, поковыряют землю копытами, потом поднимутся на задние ноги и — навстречу друг другу. Идут, фыркают, скалят зубы, а передние ноги, согнутые в коленях, несут впереди себя, как цепи. Сошлись, и тут начинается настоящий бой. Бьют по головам другу друга передними ногами. Поднимают ногу прямо, как палку, и опускают ее на голову противника со всего размаха. Боксерских правил никаких не соблюдают. Приходится вмешиваться и разнимать драчунов.

— И что удивительно,— замечает Люба,— когда зреют панты, драк таких не замечается.

— Да, пантач в это время очень осторожен. Наверное, заметили, как он несет голову с пантами? За ветку дерева боится задеть.

— Ну, а в «разлучнике»? Ведь их набирается целый табунок?

— Тут принимаем меры предосторожности. Пантач пуглив. Бывали случаи, когда от залетевшей случайно сороки пантачи бросались врассыпную, топтали друг друга, ранили панты в толкучке.

— Бывает и так,— добавляет Люба.— На территории парка вдруг появляется чья-нибудь собака. Тут уж табунышки не разбираются, чья она. Первый, кто заметит ее, немедленно хватается за палку.

— Ведь полноценный пант,— поясняет Анатолий Григорьевич,— это забота всего нашего коллектива. Представляете, как обидно, если в последний момент перед срезкой у оленя вдруг окажется раненым пант. Это брак. Минус, как говорят, всей нашей работе...

Беседа затягивается. Молодая семья Мултуевых, по всему видно, влюблена в свою работу. И то сказать, ра-

бота интересная, живая, требует от егеря и сметки, и находчивости, и терпеливого упорства. В бесхитростных рассказах Мултуевых по крупницам раскрывается характер, повадки и уже приобретенные оленями некоторые навыки одомашненных животных.

Люба говорит:

— Зверн, а, кажется, многое понимают.

Анатолий, смеясь, предлагает жене:

— Расскажи, как у тебя подводу с силосом увел пантач.

— Это было сделано так, что иначе и не скажешь: увел умышленно! — восклицает Люба. — Видите, вон за Отоголов клетки? Это зимники. Привожу, как всегда, два воза с силосом. Часа этого олени всегда ждут. Едва въезжаешь в ворота, бросаются навстречу. Лезут напролом. В тот раз один бык особенно был упрямым и нахальным. Идет прямо на меня. Я его раз отогнала от саней, другой раз, а он все свое. Глаза покраснели. Вижу — рассвирепел. Раскидываю силос, с опаской поглядываю на него. Он исчезает. Разношу силос с первых саней, смотрю, а тот пантач увел вторые сани в дальний угол и жует силос. Я так и ахнула. Как же это, думаю, так получилось? Не мог же он, в самом деле, увести за собой коня! Потом уже сообща разобрался. Подошел, видно, пантач к коню и каким-то образом захлестнул себе на шею вожжину. Пошел от коня, а вожжи натянулись. Он дернул сильнее — лошадь и пошла за ним.

— Вот такие номера откальвают наши питомцы, — весело сказал Анатолий Григорьевич.

Мы обратили внимание на то, что зимники совсем не утепляются. Нет ни стен, ни навесов — открытые площадки, разбитые на клетки изгородью.

— Зиму олени переносят хорошо под открытым небом. Но навесы делаем. Каждую осень, для стельных маток.

Кто-то спросил о хищниках. Ведь их, наверное, немало здесь. Вокруг тайга, горы...

— Олень только с виду безобидное животное, — рассказывает Анатолий Григорьевич. — За себя постоять может...

В прошлую зиму это произошло с теми же самыми беглецами. Тех двух, которые приохотились к концентратам молочнотоварной фермы, не сразу мы загнали в парк.

Один пантач долго еще бродил около парка. Следы его мы обнаруживали ежедневно около ограды.

Рано утром, еще как следует не рассвело, поднялся вдруг переполох где-то у верхней ограды. Летят оттуда, будто угорелые, табунки оленей к зимникам. Дрожат, пугливо фыркают и все вверх смотрят, на горы. Вскочили мы с соседом на коней, взяли ружья, собак — и туда. «Не иначе, думаем, зверь близко к ограде подошел».

Подъезжаем к лесу. Тут ограда в самую скалу одним концом упирается. Внизу еще темь. Ничего не видно. Спускаемся осторожно. Ружья на изготовке держим. Вдруг собаки наши будто взбесились — залаяли в один голос и рванулись в лощину. Оттуда наперерез им к лесу метнулась тень. Кони зауросили, зафыркали, норовят назад повернуть. Мы разом выстрелили наугад. Но где там! По тени стреляли!..

Собаки гнали хищника — а это был волк — до самого леса. Свернули мы в лощину и здесь повстречались с беглецом-оленем. Он прижался в угол изгороди, нацелившись рогами. Когда совсем рассвело, мы обнаружили приотпанный снег и поняли: как ни ловчился хищник, как ни прыгал, а взять оленя не смог.

После битвы на тропе пантач охотно пошел в парк. Видно, несладко жилось ему в одиночку, хотя и на свободе.

#### Пришельцы

— Бывают у нас и неожиданные гости,— снова подала голос Люба.

— Правда,— подхватил Анатолий Григорьевич.— Заскочили в парк несколько диких коз. Как это им удалось, мы не могли понять. Только смотрим: новый табунок появился у нас. Ходят от оленей чуть поодаль и уходить, похоже, совсем не собираются.

— Снег был глубокий в ту зиму,— вспоминает Люба,— а в нашем парке, на солнечной стороне, тебеневать хорошо было.

— Тут уж, наверное, у охотника зачесались руки. Не правда ли, Анатолий Григорьевич? — спросил я.

Молодой егерь засмеялся.

— Что правда, то правда. Да вот ведь закавыка какая получилась: взять их было трудно.

— В парке трудно? — усомнились мы.

— В том-то и дело. Парк против нас обернулся.

— Каким это образом?

— А вот каким. Мы, конечно, решили использовать оплошность незваных гостей, но они повели себя очень осторожно с первого же дня. Избегали овражков, лощин и леса. Пасутся у всех на виду, на открытом склоне. Тут и олени ходят. Ты к ним, а они, почуяв опасность,— к оленям. Да прямо в самую гущу норвят затесаться.

— А олени?

— Те словно понимают, что их гостям угрожает опасность, не разбегаются, наоборот, держатся табунком. Пропустят коз в середину и стоят, смотрят на тебя с таким вызовом: дескать, стреляй, если можешь, стреляй, если и мы тебе не дороги.

— Долго так водили за нос наших охотников те гости,— сказала Люба,— а потом ушли... Через ту самую сетку — снова концы отошли в стыке. Там и щель-то сразу не заметишь, а им достаточно...

Над Отогольской долиной плывет звездная ночь. Шумит по камням, хлопочет о чем-то своем неугомонная горная речушка. Где-то в парке настороженно свистнул пантач. Послышался отдаленный стук копыт.

Анатолий прислушивается, потом встает и надевает телогрейку.

— Пора. Объездной возвращается.

Мы провожаем его до речушки. Там он садится на коня и едет вдоль парка в горы.

Снова свистит где-то осторожный пантач. Он тоже, видать, заступает на вахту.

### Под Хайдуном — лето

...Тогда осень стояла. Она справляла свой праздник — «бабье лето». Принарядила деревца в разные платья. Склоны гор расшила цветными узорами. И хотя краски ее цветов бледнее, чем у весны, но это были другие цветы, осенние, и они, как могли, украсили ее праздник. Горные речушки и те будто устали за лето: струились медленнее, но мелодия их песен была чище и светлее. Исчезли удар-

ные звуки, утихомирилась былинная сила их воли, и притихли струн. Видно, не в характере осени шум и рев молодой стихии, чем так сильна великодушная и щедрая на краски и шумы весна...

Тогда стояла осень, и ехали мы прямо на «свадьбу» в поселок Курдюм, что сразу же за Карагаем. (Это Фатей Петрович Попок, знаменитый в области мараловод, который и основал этот поселок, окрестил так маралий гон.)

Хороша осень в дни своего праздника в этих краях, только очень уж ненадежны дороги. На перевалах под колесами машины звенит галька и камень, а низинки таят большую опасность. Но все это было в первую поездку на Карагай. А сейчас в разгаре лето. До маральных свадеб далеко, но какой добрый хозяин не думает о прибавке в семье! Прислушиваясь к зазывной музыке трубных звуков рогачей, Фатей Петрович с тайной надеждой ждал богатого потомства на ферме.

— По нему, по этому самому потомству,— говорит он,— принято оценивать работу и опыт животновода. Оно ведь и так: можно ли ждать богатого и сильного приплода от заморышей? Куда там! Говорят: как потопает, так и полопает. Конечно, что марал? Дикарь, зверь. Убери загородки — разбегутся кто куда. Может, останутся покормушки... Один, два, ну пусть с десятка. Все, слышь, от человека идет. Эту дикость уменьшать в звере тоже дано ему. Он в силах преобразить природу. В нужное русло повернуть. Поставил хороший уход — и животное выправляется. И приплод будет хороший. Упустил дело из своих рук — и не жди благодати. Или вот, слышь, отбор. Растет вон, скажем, лесина... прет в сук, карежит ее. Будет ли из нее деловая древесина? — Фатей Петрович, добродушно посмеиваясь, отрицательно качает головой. — Не жди, не будет. Так чего оно застит другим, стройным деревьям солнце? Руби его беспощадно! Знающий свое дело лесник так и поступит, потому как его забота — весь массив, а не одно дерево. А теперь вот рассуди п наше производство. Было в первый год организации, в одна тыща девятьсот пятидесятом, всего пятьдесят две маралухи и шестьдесят три бычка. А понче? — он вприщур, не скрывая в глазах торжества, некоторое время молча смотрит на нас, потом резко тычет рукой в сторону леса: — Слышь, кишит. Более тыщи их пасется там...

— Зверь же,— недоумеваем мы.— Как тут отличить хорошего от плохого?

Фатей Петрович довольный хохочет. Понимаю: удивил, и ему лестно это. Приятно. Да уж кого проще удивить, как не городских, да с налета которые, говорят его добродушные глаза...

— Примишь! Еще как заметишь-то,— говорит он, разглаживая свою патриаршую бороду.— А что проще-то, когда он, каждый, через мой станок проходит. Побегает, покружится, а «разлучника» ему все одно не миновать. Я и смотрю: зацвел пант. А каков букет его? Сколь весит? Вот оно, брат, как. У него, скажем, сегодня трехрожек, на будущее лето то же самое... А сам — туша тушей... На кой ты мне, друг сердешный, такой нужен! Брак, уходи из стада. Не порть мне потомства. Так вот и вмешиваемся... А как же!

И сегодня он нам таким представляется, грузный, ширококостный основатель Курдюма. В совхозной конторе сказали, не скрывая радостного волнения:

— Урожай пантов нынче рекордный: свыше семи килограммов, ну а в Карагае как всегда — еще выше.

Когда говорят о маралах и называют Карагай, все подразумевают под этим поселок Курдюм, где расположен маральник и живут мараловоды. В Карагае же — центральная усадьба этой отдаленной фермы.

Мы заинтересовались, как «цвели» панты в других хозяйствах района. Показатели их оказались ниже, хотя с прибылями от мараловодства идут все. Планы по пантам перевыполнены.

Разговор ведем с директором совхоза «Абайский» Фунтиковым.

— В чем же секрет ваших мараловодов? Сколько помнится, они ежегодно занимают первые места по области.

— Что тут можно сказать? — говорит директор.— Маралы те же, что и у других. Да и условия. Похоже, от людей все зависит, от самих мараловодов. У нас ведь годами одни и те же люди работают в мараловодстве. Выросли семейные династии. Вон взять Фатей Петровича... Знаменит он и сыновья — девять у него — делами своими. Через руки семьи Поповых прошли тысячи животных. Семейная бригада. Старший Петр — Героем Социалистического Труда стал. И почти все члены семьи — кавалеры орденов, медалями награждены. Неплохая семействен-

ность. Правда? — Смеется. Через минуту в раздумье добавляет: — Селекционная работа. Это факт. Научились. Опыт подсказывает.

И тогда мы вспоминаем наш разговор с Фатеем Петровичем об отборе.

...Дорога на Курдюм не ближняя. Почитай, только от тракта по перевалам более пятидесяти километров намеряешь. Летом по ней пустить бы любителей экзотики. Одна эта долина у Курмалыкского перевала чего стоит! Дороги почти не видно. Она угадывается по просеке среди рослых хлебов. Вот под машиной протарахтел мост через Сугаш. Речушка теряется где-то среди посевов, спеша к своей главной пристани — Коксу-у-реке. Так со всего размаха и врежется он в ее темно-синнюю гладь, попробует в своем веселом озорстве пересечь ее до противоположного берега, но уже под крутояром попадет под сильное крыло могучей реки и остепенится, пойдет в обнимку, добродушно журча, с ее мускулистым тугим напором. И рад-радешенек горный пришелец: не одному теперь вперед пробиваться. С этой минуты сила большой реки — это и его сила... А Коксу-у гостеприимна. Скольких еще подберет она на своем пути таких одиноких бродяг, шустрых, горных, пока сама не врежется в голубую волну Катуня.

Под Курмалыком оживление. То тут, то там движутся легкие тракторы, вздымаются, блестя на солнце отполированными зубьями, механические копнителы. Вырастают на глазах копны. В разных направлениях скачут конники — это копновозы. Выдался ясный день. И люди торопятся использовать погожий час, с опаской поглядывая в сторону Хайдуна — это крутолобая гора, которая стоит на страже границы с Казахстаном, видна и отсюда, стоит только взойти на Курмалык...

В Тужаре, этом маленьком поселке мараловодов из Амурского совхоза, нам говорили:

— Похлеще барометра Хайдун. Заловил облачко, через час-другой жди: припаяет к нему тучу. Покружит недолго и отправит в путь. То в одно урочище, то в другое. Так и регулирует их движение, что твой заправский диспетчер. Весь день страху нагоняет. Лучше б на степь пропустил дождик-то. Сохнет, горит там все.

Понятно, летний дождь недолог. А если он ясный? Все перемешает в минуту, мутные ручьи вздуются, бывает, и кошенину сносят... Были рядки на склоне — и нет

рядков. Собирай после по кустам. Оттого и поглядывают ежеминутно на приметный свой «барометр» сенозаготовители Тужара.

— Ну, до Тужары не каждая тучка доходит,— говорит управляющий Карагайской фермой Федор Иванович Пудовкин.— А Карагай ни одна не минует. Тут и приспосабливайся.— И в шутку сердится:— Взорвать бы его, черта лысого! Может, не кружились бы тогда над ним всякие бродячие облачка.

Его раздражение нетрудно понять. Чем ближе дорога к Хайдуну, тем она хуже. Липкая грязь даже на склонах цепляется за колеса машины. И все же в Карагайской долине радуют многочисленные стожки вовремя убранного сена.

— Играем с ним как в прятки,— сумрачно кивает в сторону горы управляющий.

Нелегкое нынче лето выдалось в этих местах.

— Весны почти не видели,— говорят в Карагае.— Холод. Дождь. Снова холод. Тепла нет — росту ничему нет. На лето была надежда, а оно вон какое.

Женщины тычут граблями в коричневатые рядки.

— Четвертый раз ворошим. Это ведь какое терпение надо иметь!

Терпение... А все же, как быть?

— Свое возьмем... такого еще не было, чтобы скот совхозный без корма в зиму пустить,— упрямо и уже совершенно спокойно и весело говорят сенозаготовители.

Научились и они борьбе с природой. И техника на вырубку пришла. Природная сметка и расторопность в работе.

— Такого еще не было, чтобы скот в зиму без кормов пустить.

И в это хочется верить. Не было и не будет...

Вот накрапывает дождь, а сенокосилки отваливают на обширном лугу одну зеленую волну за другой. Тут же юркие тракторные волокуши возят кошенну к силосной яме.

Выведрело — все, от мала до велика, покидают село и устремляются в урочища.

Трудовой дружбы не занимать карагайцам.

Нелегко жить в столь отдаленном горном уголке. И неудобств много. До райцентра более сотни километров, от города раз в пять подальше. Нередко картошка и та вы-

мерзала по огородам. Другой с досады разлутуется: «Уеду! Хватит мне этой мороки!»

Потом отойдет, посмотрит вокруг, и места эти еще краше ему покажутся: «Куда ты без них? Да есть ли еще красивее нашего края?»

Махнет рукой — и снова за работу.

А места в Карагае действительно красивые. Широкие распадки ломаются от ягод. Травостои бывают по грудь. От родничков и многочисленных горных речушек глаз не оторвать. И охота есть. И рыба. На горах — кедровый бор. Для всего живого лучшего места трудно подыскать.

— Ходило у нас одно поверье, — рассказывают старожилы Карагая. — Давно, говорят, это было. Хайдун в божество превратили местные жители. А больше это охотники были, алтайцы. По очереди два раза в год — осенью и весной — разные приношения ему поставляли. Осенью, чтобы он, значит, дал им зиму хорошую: не очень холодную и малоснежную, весной, чтоб своими холодами зверье не отпугнул. Жили бедно. Известное дело, каждый сам по себе выкручивался. А тут еще и шаман донимал. Чуть что — долю требовал. Один молодой хозяин, по имени Тохто, простудился как-то на охоте. Ну его, понятно, то в жар, то в холод начало кидать. Не ест, одну воду пьет. Совсем обессилел. «Не жадничай, — говорят ему соседи. — Поклонись Хайдуну, отдай барашка...» Отдал. А болезнь не смиряется. Шамана позвали. Тот говорит: «Прогневил ты, видать, бога горы... Много хлопот с тобой будет». Хитер шаман: цену себе сразу нагоняет. Ну, покружился он, побесился, упал, слушает... Встает: «Молчат боги, говорит, велик твой грех, Тохто...» — и снова принялся прыгать и бить в бубен. Да раза три принимался. Сам-то весь измочалился, пока до тех богов докричался. Ну и сказали они вроде, пусть жеребчика-трехлетку в жертву кладет...

Расстроился Тохто. «Не отдам, кричит, Саврасого! Где я возьму другого коня?» Тут насели на Тохто соседи: «Рассердишь Эрлика, на всех нас кару напустит. Житья не будет совсем. Отдай Саврасого, отдай!» Прирезал парень копя. Совсем духом пал. Болезнь по-прежнему гнет в дугу. «Так что ж, думает, тот бог... За что разорил он меня?» Напрягся, собрался с силой и поехал на старом Пеганке к Хайдуну. Кое-как добрался до него, залез на камень и крикнул: «Эй ты, вонючий хорек

под именем Эрлик, где ты скрываешься, жадный обманщик?»

Ну, Хайдун, понятное дело, помалкивает. Плевал он на эти небыллицы с Эрликом. А Тохто еле доехал до анла и в ту же ночь помер. Смелый, видать, парень был. Испугались тогда охотники гнева горы и откочевали в неизвестном направлении. Нет их теперь, а поверье осталось о могуществе этой горы. Теперь-то смешным кажется все это. А могло ведь и такое быть. Суеверным жил человек. Всего остерегался да побаивался.

Вспомнилась эта легенда, когда из центральной усадьбы Абайского совхоза на луга Карагая прибыл механизированный отряд. Крепкая ударная сила.

— Эти парни не пойдут на поклон к Хайдуноу, — кивнул в сторону механизаторов Фатей Петрович, посмеиваясь. — Никакая погода не остановит их. Будут корма, будут...

В то лето бригада мараловодов, которой руководил сын Фатея, Петр, поставила около двадцати тысяч центнеров кормов. Работали на лугах семьями. И в эти дни пуст Курдюм. Все на покосе.

Фатей Петрович хоть и на пенсии давно, а маральник не бросает. Вот и сейчас он с утра до вечера на пантоварке.

— Работа к концу подходит, — говорит он. — Урожай? Как ему не быть. С зимой пофартило. И сена, и концентратов хватило. На выпаса наши звери справными вышли. Панты «цвели» хорошо. Вишь, сколько с ними мороки. А как же — богатство. Такой труд не за труд считаю, за милую душу.

— В прошлом году, — напомнили мы Фатею Петровичу, — у вас был рекордный урожай пантов. Семь килограммов семьдесят граммов на круг...

— Перешагнули тот рекорд, — весело машет рукой. — Нонешнее лето богаче. Сам дивовался рекордам тем. Хвалю парней своих. Петруху хвалю. Молодец, говорю, отца перешеголял!.. А наверно, и всех обогнал... Ведь Героя ему присвоили. Орден Ленина со Звездой Золотой дали. Теперь у него два ордена Ленина. Вот как пошел Петр. Мне ведь тоже за него лестно. — Он задумался ненадолго и повторил: — Лестно. А что скрывать. Отцу высшая награда — сыновья.

А разве его самого обошли в почете? Ордена Октябрьской Революции удостоен. Ветеран труда. Теперь уж он вроде наставника в бригаде. На панторезке орудует. Каждый пант через свои руки пропустит. Прибросит. Определит.

— Нонче еще тяжелей пант. Смотри, Петро... Я так думаю, прибавка эта из года в год от того отбора идет... а? Улыбнулся старшой:

— Не дар же это того самого Эрлика! — и уверенно: — Селекция уравнивает стадо на годы вперед с большим запасом продукции.

— И я так кумекаю, сын, каждый из нас впрок должен работать.

Петр лукаво глянул на отца.

— Понял, отец, постараемся.

— То-то, — весело отозвался старик и подмигнул озорно: — Теперь нам и Хайдун нипочем. Сильнее стал человек. Намного сильнее коварств горы.

### Здравствуй, новый Каярлык!

Он далеко, мой родной Каярлык. Так далеко, что сразу и не отыщешь его даже на краевой географической карте. Вот видите: черная жилка ползет все глубже и глубже в горы. Это не простая жилка — это Чуйский тракт, он пересекает Катунь, перебросив с берега на берег мост. Вот взлетает на Семинский перевал и, преодолев его, стремительно спускается в Урскульскую долину. Он пойдет дальше, на многие сотни километров, в Кош-Агач, к монгольской границе. Я знаю, ему еще придется не раз преодолевать неприступные с виду гольцы, форсировать бурные горные речушки, прижиматься к отвесным скалам и виснуть над пропастями, но он пройдет все это, послушный опытной руке человека-строителя.

Ну, а Каярлык... Видите вторую жилку, что потоньше? Она похожа на паутину. Того и гляди, оборвется. Но этого не случится. С каждым годом жилка становится крепче, и кто знает, может быть, скоро она станет такой же, как и Чуйский тракт. Ведь была когда-то — и не так уж давно — обычной конной тропой, каких сотни, а может, и тысячи, в горах Алтая.

Вот и большое красивое село на берегу Урсула. Это еще не Каярлык. Это Ело. Здесь родина нашего поэта Эркемена Палкина. Он тоже в свое время учился в Литературном институте имени Максима Горького. Теперь член Союза советских писателей. Вывела ж его тропка к самой Москве.

Я прохожу через Ело, и хоть это не мое родное село, но я рад за соседей. Как похорошело оно! Большой клуб. Магазины, школа. Новые домики гостеприимно светят мне огромными окнами. А помню: стояли здесь слепые анлы. За околицей начинается Каярлыкская долина. А там, у гор, вам сразу начнут светить огни моего родного Каярлыка. Я не так давно покинул его. Всего, может быть, около трех лет, а как хочется иметь крылья, чтобы взлететь на вершины ближайших гор и опуститься на знакомой с детства улице! Это чувство понятно каждому, кто хоть раз покидал родные места. Навстречу, ласкаясь, как дворовый пес, бежит, рассказывает мне безумолчно о деревенских новостях знакомая с детства, говорливая, беспокойная речушка... Бежит, лопочет, ласковая, сияющая и неугомонная. И я понимаю ее. Она торопится рассказать мне хорошие новости. Это я вижу по ее солнечным всплескам и нежному журчанью.

...А вечером я иду по селу, по широкой улице. Узнаю и не узнаю ее. Вот с этой горки мы на санках катались. Какая она маленькая! За ней раньше не было домов, а теперь улица открывается новыми домами все дальше и дальше. И я ловлю себя на том, что люблю село. Я рассматриваю новые столбы, что прошагали вдоль села, и провода, будто здесь они не обычные, как всюду, по всей дороге от Москвы до Алтайских гор. Нет, они, конечно, самые обыкновенные, с перекладинами наверху и светлыми стаканчиками на крючках. И все-таки здесь, в Каярлыке, они особенные. Нет, не тем, что сделаны из самого крепкого дерева — лиственницы, и провода, конечно, как у всех, а тем особенные, что перешагнули эти столбы через столетия, через дымные очаги анлов. Перешагнули, принесли новый, яркий свет. А где ему гореть, не в юртах же!

И вот здесь стали строить новые дома. Одни за другим вырастали они, просторные и светлые.

Я смотрю на горы, и кажется мне, что отступили они, стали дальше. Я смотрю в долину, и кажется мне, что она

раздалась вширь и вдаль. Так были длинны и глубоки черные борозды зяби.

...Наступил вечер. И хотя солнце не зашло за горы, в ущельях уже потемнел лес. Скоро в селе вспыхнет свет. И мне очень захотелось увидеть этот торжественный момент со стороны.

Я свернул в переулочек и чьей-то оградой прошел по косогору на небольшую сопочку. Мне было видно, как на молочнотоварной ферме суетились люди в халатах. Там скоро начнут вечернюю дойку. Коровы сами заходят в станки. Послышался стук мотора, и мне показалось, что я слышу шум струй по резиновым шлангам.

К небольшой электростанции шли два человека. Один в спецовке, молодой, шагал деловито и быстро, поглядывая на закат. От него не отставал высокий старик. «Неужели не узнаю? — подумал я, вглядываясь в старика. — Узнал. Это же Амыр. Тогочаев Амыр. Что ему делать на электростанции? Давно Амыр на пенсии. Ему же, наверное, без малого девяносто... Беспокойный человек. Не сидится дома». Я вспомнил. Было это давно. Я тогда еще босоножим мальчишкой бегал. Амыра Тогочаева все с уважением называли в селе первым стахановцем. Это было не совсем понятно для нас, даже не все взрослые знали, что это такое, но все говорили:

— Стать, как Амыр, стахановцем — это хорошо...

Амыра, говорят, приглашали даже в Москву. И он ездил. После чего рассказывали: Амыр взялся пасти два гурта торбоков<sup>1</sup>.

— Так должен поступать человек, если он хочет стать большим стахановцем, — сказал Амыр.

И для нас стало тогда многое понятным. Как это было давно! В Каярлыке сейчас более двадцати юношей и девушек, получивших среднее образование, но не покинувших села. Все они работают чабанами, доярками, механизаторами. Выросли свои электрики, зоотехники и агрономы. Мои сверстники стали хозяевами на отделении (Каярлык — теперь отделение Еловского овцесовхоза). Они самостоятельно решают все хозяйственные задачи. Хорошо берутся за дело. Это видно по селу... А вот Амыр, старый древний Амыр Тогочаев, первый в селе стаханов-

---

<sup>1</sup> Т о р б о к — годовалый теленок (алт.).

вещь, — по-прежнему неутомим, по-прежнему о чем-то хлопочет и, видно, совсем не думает уходить на заслуженный отдых...

Я смотрю на родное село. Тени ползут из ущелий. Становится темнее. Вдруг точно молния полыхнула над домами: вспыхнул электрический свет, и Каярлык преобразился, стал наряднее.

Из помещения электростанции вышли двое. Они стояли у порога, глядя в село, и тот, что выше, в мохнатой шапке, высоко держа голову, степенно направился по улице. Это Амыр. И я невольно подумал: да, вот такие, как Амыр, дали нам в жизни свет. Я сбежал с горки и пошел ему навстречу.

— Якшлар, дедушка! Здравствуйте! — кричу еще издали. Он сбавил шаг и пристально посмотрел на меня.

— Здравствуй, сынок, — сказал, даже не удивившись. Лицо его, изрезанное морщинами, было торжественно-строгим. Он деловито справился: — Как там Москва?.. Ведь я знаю ее. Помню... Хорошо помню...

Значит, он узнал меня. Какая память у Амыра!

— Москва кланяется вам, Амыр... Она помнит своих добрых сыновей.

Глаза Амыра потеплели. В них мелькнула хитринка.

— Может, ты мои следы видел на выставке, балам? Небось и дождей за все годы не было в столице? — Он улыбнулся своей шутке и покачал головой. — Разве всех сыновей своих запомнить Москве? Их так много. И то, что добился когда-то я, сейчас во сто крат лучше делают. А за доброе слово спасибо, балам. Я не забыл ее, Москву, Она в моем сердце. Разве не оттуда идет этот свет? — Он кивнул на село. — Да и только ли свет? — Старик многозначительно посмотрел на меня и, помолчав, добавил: — Приходи в гости. Послушаем твои стихи. Ты знаешь, наши люди уважают хорошую песню и хорошего кайчи — сказителя...

Люди моего Каярлыка... Они хорошо и славно идут по жизни, хотя и не всегда легко шагаются.

Я на стоянке моего школьного друга Василия Туткушева. Я видел его имя на доске Почета. Он теперь лучший чабан совхоза. Коммунист. Имеет семью. Не легким было детство Василия. Рано лишился отца и матери. Жил у старшей сестры, тогда уже коммунистки, доярки Мююс. А с нею были и другие сестренки: Эртечи, Токтон. Их те-

перь не узнать. Совсем взрослыми стали, хорошими работницами.

Я помню, как впервые мы с Василием взнуздали своих коней, научились не бояться быстрой езды. Наши отары были рядом, и мы зорко следили за ними.

Теперь Василий — уважаемый человек в совхозе. Он по-настоящему знает свое дело. Недаром отара его одна из лучших.

Как он добился этого?

— О, теперь это не так просто, — говорит Василий. — Когда-то, помнишь, мы с тобой думали: чего тут мудреного в работе чабана! Паси себе и паси. Что тут придумаешь нового? Ведь наши овцы круглый год тебенюют... Сейчас много задач решаем сами. Про Быляя Койдонова слышал? Он в долине Чақыра живет на стоянке. Это в Ябоганском совхозе. За перевалом...

Интересно, что же придумал Былый? И Василий, взяв с полки какую-то книгу, начинает рассказывать. Он говорит просто и свободно, а я, к удивлению своему, не могу понять, кто это говорит: чабан или зоотехник?

— Вот взять хотя бы его опыты с СЖК... Что это? Это сыворотка жеребых кобыл. Так вот, если ее ввести овце, она увеличит приплод. Да, да, увеличит приплод. Не только двойняшек, но и тройняшек будет приносить. А зимний окот. О, это очень выгодно для хозяйства. Три окота в два года. Надо заранее подумать о тепляках. В этом я согласен с Былым. Без этого не обойтись, хотя некоторые горячие головы и утверждают обратное. Но пойти по их пути — значит погубить хорошее начинание.

Да, Василий говорит о работе как настоящий хозяин. Подготовленный, грамотный человек. Он ведет меня по кошарам, теплякам, и я вижу: не будет у него досадных случайностей и недоглядов. Все учтено. Обо всем он заранее подумал, позаботился. Наверное, у Василия не бывает больших трудностей — он настойчив, трудолюбив, отлично знает свое дело.

— Трудности? О, их хватает, — улыбаясь, говорит Василий. — Нынче пойду на учебу к Самаевой. Ничего не поделаешь, — вздыхает он. — Девчонка, а задает такой тон, всем на диво.

— Самаева? Постой... Неужели Зоя? Такая, помню, озорная была, бедовая...

— Она,— кивает Василий.— Только теперь ее не узнаешь.

— Чем же она отличилась?

— Лучший мастер оренбургского метода стрижки. Старший чабан. Все у нее учатся. Что ж, и мне, пожалуй, не зазорно будет поучиться.

Лучший мастер передового метода стрижки. Старший чабан... Вот тебе и бедовая девчонка! Я решил обязательно побывать на ее стоянке.

...Меня встретила круглолицая, с большими сияющими глазами девушка.

— Езень,— сказала она приветливо.— Проходи. Гостем будешь. Только скажи сразу: Евтушенко видел?

— Евтушенко? А при чем, собственно,— начал было я, сбитый с толку таким неожиданным вопросом. Но Зоя перебила меня.

— Очень при чем,— сказала она с явной досадой,— значит, не видел... Ну, что ж, все равно, проходи... может, наизусть знаешь его стихи. Послушаем.

Такое условие обескуражило меня. Я сам люблю стихи Евтушенко, но наизусть ни одного не помню и не встречался с автором. Отсюда, из Каярлыка, все кажется проще, но в Москве, кроме известной особы поэта, есть и другим чем заняться. Со стоянки Зои, правда, это не видно.

Я помнил: у Зои были сестра и брат Токтой, лихой табунщик. За чаем спросил об их судьбе.

— Сестра кончила институт,— сказала просто Зоя.— Зоотехником в Теньге... А Токтой управляющим фермой работает. Он ведь учился в Иннинском училище механизации. Был машинистом широкого профиля. А теперь стал управляющим.

Хорошо, твердо шагают по жизни мои земляки. И в каждую новую встречу со старыми знакомыми я будто вижу их впервые. Кто не знает в Каярлыке дядюшку Учюра Тырдаева? Он стронтель и кузнец. Про него говорят:

— Нет в ссле ни одного дома, ни одной стоянки, которых бы не касалось острне его топора.

Я всегда помнил его молчаливым, сосредоточенным, с трубкой во рту. Таким его увидел и в этот раз. Тырдыев ставил стропила на скотном дворе. Когда, отдыхая, он смотрел сверху на село, мне казалось, что лицо его мо-

лодеет, а в глазах прорывается какая-то светлинка. «Да, ему есть чем гордиться,— думал я, наблюдая за ним.— Хорошую память по себе оставляет людям Учур...»

Он еще полон сил и энергии.

— В городах, слышно, крупными блоками строят,— говорит он.— Вот это я понимаю, навечно... Поработать бы так...— И он мечтательно суживает глаза, задумывается.

Да, еще полон творческих сил дядюшка Учур. Еще просит горячее сердце строителя большого размаха. Раньше никто не подозревал, что у дядюшки Учюра есть какие-то свои задумки. А сейчас я не сразу узнал его. Что же изменило его? Время? Конечно, оно, наше благодатное время.

Как-то под вечер в Каярлык приехала на собственной «Волге» Елена Упаева. После войны она была в Каярлыке председателем колхоза, а теперь работает чабаном в Ело. Я не увидел любопытных ребячьих стаек около ее машины. Они не бежали за ней, как это было в те далекие дни, когда в село пришел первый трактор. Что это, тоже примета нового времени? Конечно.

...Я прожил в Каярлыке весь отпуск, и каждый день, проведенный здесь, был для меня открытием того нового, что неудержимо идет в гору, не страшась перевалов и бурных рек.

Вот и придвинулась снова к крыльцу моего дома дальняя дорога. Мне нужно уезжать в Москву. Но я не прощаюсь с Каярлыком. Я говорю: цветы и здравствуй, мой Каярлык! До новых встреч!

### Шаргайта — село солнечное

Как только день прибавит шагу всего, может, на воробьиный клюв, Килемю Иркутовичу уже не сидится дома. Кто-то так и подталкивает в сердце:

— Иди, Килемей, иди. Разве ты не слышал, как у ручья вела разговор с весной синица? Прилетела. И уже хлопочет. С самой утренней зари.

И позовут пожилого человека за село беспокойные думы.

Удивительная вещь — человеческая память! Молчит до поры до времени. Не беспокоит, и вдруг обнажится совсем какая-нибудь пустячная деталь, а как может она больно ударить! Одна за другой пронесутся картины уже прожитого былого. Все перевероят услужливая память! Зазвенят годы на какой-то совсем молодой волне. Зазвенят, всполошат кровь... В этот раз почудилось, будто на Чанкыре у самой кромки снежного наста качаются на тонких ножках голубые ветренники. Вышел во двор Килемей, а до горы рукой подать. Ну какие там могут быть цветы, когда вокруг всей деревни белое безмолвие, а в воздухе морозная дымка стелется! Рано еще быть цветам, Килемей. Но все равно уже не унять тревожного зова сердца. Может, пора, кстати, и материал заготовить для граблей и деревянных вил? Каждую весну этот инвентарь не минует его рук. Никто, правда, не просит его об этом, не обязывает, как лет двадцать назад, «обеспечить заблаговременную подготовку всего инвентаря к сенокосу». Сам Килемей обязывает себя. Когда человеку на девятый десяток пошло, указаний в его адрес не пишут. Он сам себе пишет их. Совестью пишет. А совесть, этот неписанный указ, куда как сильнее громких слов...

Коня оседлал Килемей. Приторочил к седлу топор, а когда выезжал за ограду, неожиданно встретился с сыном Айдаром.

— Э, ада, кто это вас гонит из деревни? Или Каурку решили поразмять? — пошутил Айдар.

— Ты, балам, ничего не смыслишь в мужских делах, хоть и управляющим работаешь... Сколько лет хозяйством правишь? Небось уж добрый десяток? — старик вприщур посмотрел на сына.

— Пожалуй, — кивнул ему, улыбаясь, Айдар.

— Ну вот. Пора знать: синница во двор — хозяин со двора.

— Э-э, ада, так нас синницы совсем изведут! Где нам мужиков набрать?

— Ты таких не жалеешь шибко. С них мало проку в делах. — Он натянул поводья и уже на ходу бросил: — Заходи. Мать дома. А я уж не стану возвращаться.

Айдар посмотрел ему вслед. «Наверное, скажет про себя, — подумал о сыне Килемей, — чего этому старому не сидится в тепле? Всего в достатке, ничем не обижен... А ты вот попробуй усиди, когда годы в загривок со всех

сторон смотрят и нет-нет да позовут к себе... Просто так. Поговорить, вспомнить о чем-нибудь». Он выпрямился в седле, высокий, крепкий еще, будто листовенничный корень, оглянулся на родную деревню и углубился в лес. Годы, они ведь зря не зовут. Им тоже живой голос нужен. А может, спросить о чем задумают? Уж им не соврешь. С ними начистоту. Потому что они — это и есть твоя совесть. Вон там, за Песчаной, в урочище Куберге притаились где-то годы из босоногого детства, а сюда, ближе к Азалу — степенные... Хотя, что вам говорить, это тридцатые-то степенные? Ого, они самыми, пожалуй, горячими и интересными были.

Почему-то пришла в голову... экскурсия. Это на днях было. Целым классом ребяташки ввалились в дом. И среди них — добрая половина своих внучат. И уж не только Боделуковых. Тут и Кокпаковы были и Ойношевы... А все равно внучата. У дочки Шуры кокпаковская веточка отпочковалась. От Маруси — ойношевское семя пробилось к свету.

— Ну что, гости, — весело поднял брови Килемей, — будем чай пить?

— Не-е! Мы — экскурсия! — вразнобой ответили детишки. А одна маленькая, черноглазая попыталась пояснить: — Экскурсия — это когда, значит, ходят все... экскурсией зовется.

— Ишь ты! — удивился Килемей. — И слово-то не сразу выговоришь. (Из осторожности он не стал повторять его. Чего доброго, и вправду язык сломаешь.)

— Мы, дедушка, историю села изучаем, — выдвинулась вперед черноглазая. — Нам сказали, что вы — биография всего села.

— Как ты сказала, кандычок мой?

— Биография! — выпалила та.

— Это кто ж такое на старого человека наговаривает? — усмехнулся в бороду Килемей и встретился глазами с женой: «Ты слышала, Айтпас? Биография мы теперь! Не Боделуковы, а Биография, значит».

— Боделуковы, Боделуковы! — закричали ребята.

— Ах, птенцы мои... Вот уже не только гнездышко домашнее, и мир становится тесным... Все знать хотят. До всего добираются, докапываются.

Биография... А что ты против этого скажешь, Килемей? Тут, брат, и возразить нечего... виноват, получается!

вся история села на твоих глазах свершалась, да и в сердце разные узелки завязала. Вот взять хоть те молодые еще годы...

Он натянул повод и чуть-чуть приподнялся на стременах. Впереди,— просел на середине лед,— весело побулькивала неугомонная Песчанка. Тут вот с левой стороны по лесу когда-то было разбросано десятка полтора-два анлов.

— Азалу,— прошептал старик.— Отсюда твоя первая дорога, Шаргайта... А еще с Куберге... Там же и твоя, Килемей, прокладывалась тропка. Первая тропка — от анла до коновязи. А потом все удлинялась, удлинялась. Разве их теперь сосчитаешь? А ребятишки правы: никуда они не разбегались, те тропы. Держались своей деревни, а потом — родного колхоза. Потому и Биография?

Килемей пощипал свою густую бороду и весело посмотрел вокруг. Конечно, с тем имуществом, которое сложили в общий амбар коммунары Азалу, этой поляны им хватало... И выпасов по косогору еще лишку было. Бедновато жили в Азалу, но, пожалуй, в биографию то время вошло глубоко.

И вспомнил Килемей про Ирбизека. Тогда Килемей мальчишкой голопятым был, с внуком Ирбизека Экене на прутиках ездил. Экене был обычным парнишкой, а про деда его Ирбизека по всей округе легенды ходили. Силы он был невероятной. И это правда. Взять даже городьбу, которой огораживал он стожки. Срубит молодую лиственницу и тут же ее воткнет в землю с ветками, почти не затесывая. И попробуй вырви ее! Четверти на три уйдет в почву...

Сильным был Ирбизек, а жил полуголодным. По свадьбам ходил, чтобы поесть досыта, по гостям часто ездил. Здоровый был мужик. Только куда силу тратить? У зайсана в батраках гнул спину. Ребятишки его кандыком да пучками больше питались. В те годы не только его семья кормилась травой да корнями съедобными. Ты сам, Килемей, с утра до вечера с деревянной копарулькой тот кандык промыслял вокруг Куберге. Потом, правда, приспособился зверушек ловить.

Кто же еще тут в Азалу бедовал свою судьбу? Мундукиных несколько анлов стояло... Да, Мундукины. Полные анлы ребятишек. Отчаянными росли мальчишки. Все их краснопузиками звали. Ходили почти раздетыми. А где

было что взять? Да и на что? День и ночь промышляли в тайге мужики. Без хорошего ружья какая охота? Сеть начали было. Землю исковыряют как попало — откуда ячменю быть! Ни толкана, ни хлеба.

— Ох-хо,— растроганно подумалось Килемейю.— Через какой же перевал шагнули люди, что враз вся эта страшная, нищенская жизнь отлетела, будто тяжелый сон!..

Едет Килемей вверх по Песчанке. Знакомые с детства места. Каждый камень о чем-то может рассказать, что-то напомнить.

С чего же все-таки начиналась новая жизнь? Какая сила сумела нарушить вековечную тишину этих долин и ущелий, а главное, пробудила в людях жажду жизни, интерес ко всему?.. А злые силы гнездились рядом. Пугали, устрашали карами. Огонь из анла не уноси — все потеряешь в жизни. Не будет дружбы в семье. Умер человек — перекочевывай в другое место и обязательно через ручей или реку. Старшего не называй по имени. А для женщин совсем ходу не было. Какая несправедливость! Она дает жизнь ребенку, а права все в узелке платка. С мужчиной не спорь. Сиди, слушай да волю мужа исполняй. Он хозяин в доме. Его воля — закон. А твоей воли и в девчонках не было. Судьбу твою определял калым.

— Те-те-те,— прорезалась светлинкой догадка.— Надо было человека к червяку приравнять. Ты хочешь жить? Живи. Копайся в земле да навозе, другим не завидуй. Вот так, Килемей.

— И надо же прожить столько лет, чтобы понять все это,— подивился Килемей.

Он переехал речку и, присмотревшись к молодому березняку, выбрал одно деревце с крепкой развилкой у вершины. Хорошие будут трехрожки. Срубил. Сел на камень, стал очищать березку от сучьев. А память тут как тут..

...Вот эта история с Четом Чолпаном и его дочкой. Смешно ведь вспомнить. Смешно и страшно. За людей страшно: неужели так жили? Будто беспомощные ягнятишки.

Ак-Бурхан, белый бог, появился в образе человека на стоянке Чета Чолпана. Встретила бога дочка Чолпана. Перепугалась до смерти. А он говорит по-алтайски:

— Я спасти вас хочу от большого греха. Иди по ближним стоянкам и скажи, чтобы собрали деньги: бу-

мажные, золотые, серебряные и медные. В них — зло. И еще скажи, пусть уничтожают все неалтайское.

Побежала девчонка по стоянкам. Всполошился суевренный народ. В тот же день эта весть и до Куберге до-неслась. Ты вроде, Кплемей, в это время еще в Куберге жил? Ну да. Там, там. Перепугались тогда многие, особенно старухи... А вам, мальчишкам, любопытно было. Ак-Бурхан! Шутка ли! А он обещал появиться на вершине холма на белом коне и в белом одеянии.

Поехали ведь многие туда и из Куберге. На Бешпельтир, а там напрямик через перевал на Оро и в Кырлык.

Потом плевались мужики. Ак-Бурхан в сговоре с баями был. Скрылся он и деньги прихватил. Жуликом оказался. Бан прятали его. За какую-то «белую веру» сбивали народ.

— Поговорил бы тот «Ак-Бурхан» сейчас с Галинкой моей, что ли. С самой младшей, которая успела десятилетку закончить, — подумал, усмехаясь, Кплемей. — Она б ему отпела по-своему... Интересно, как бы он повел себя с Петькой, внучонком моим? Инженер. Институт кончил!

Килемей рассмеялся от невозможности даже представить себе такую встречу.

Тихо-тихо в березняке. А вроде бы уже покраснели деревца. И тальник, того и гляди, вымечет пуховые рукавички. «Э-э, недогадливый какой, — улыбнулся про себя старик. — Уже чарым под ногами, а он рукавички решил надевать...»

И задумался на минуту. Снова память разматывает новый клубочек. Дней через десяток можно и сок добывать у берез. И в те далекие годы, бывало, корытце поставишь и ждешь не дождешься, когда береза расщедрится. Лакомство для ребятишек, ее сок! А в русских деревнях как-то умудрялись из него квас делать. Едят с просяными блинами и похваляют.

Срубив несколько молодых лиственниц, — хорошие черенки будут для граблей, — Килемей выехал на гребень увала и решил навестить места раннего детства — Куберге. Тут сейчас Борбуев Байрым командует. Хороший табунщик из Байрыма получился. Отцова струнка передалась. Тот, бывало, у коня и спал на потнике. У жены Байрыма, Шуры, — забота об отаре. Ишь какой овчарник отгрохали! И домик для жилья веселый, на самом сол-

нечном месте. Чей же тут раньше анл стоял? Кажется, Тату Таркрашева... Дырявый такой анл, будто градом избитый. А Тату первым активистом был, вместе с Михаилом Чалчиковым. Они тогда и подняли людей. Артель сколотили, а потом все вместе — Куберге и Азалу — в Шаргайту переселились. Стал один колхоз «Большевик».

Очень понравилось это слово людям. Что ж, оно и неудивительно. Все эти первые активисты, которые звали к хорошей жизни, большевиками были.

К стоянке, широкой лавиной охватив ближайший пологий скат горы, подходила отара белых овец. Килемей залюбовался ею. Отара не шла, плыла, будто стая лебедей. «Это сколько же у Шуры маток? — прикинул глазом старик. — Небось больше шестисот...» Сердце его радостно встрепенулось. Не отрывая глаз от овец, он вспомнил, какую отару доверили ему в первый год организации колхоза. Одну-единственную отару сбили. Была она разношерстной, и худые и сытые овцы — все в куче.

«Паси и береги колхозное достояние, Килемей Иркинович, — сказал председатель. — Тебе доверяем!»

Сколько же было в отаре этого самого «достояния»? Кажется, триста сорок или триста шестьдесят голов. Молодые и старые овечки. Бараны здесь же... Но какой гордостью горело сердце Килемея. Никому не доверило правление первую отару, ему доверило... Помнится, когда сел на коня и махнул рукой жене, та улыбнулась и пошла впереди отары, а за ними до самой поскотины шло все население колхоза.

Бабы кричали вслед:

— Смотри, Килемей, моя черная овечка любит по кустам бродить, как бы зверь не зарезал!

«Все еще своими считали, будто отара не была уже общей», — ухмылялся Килемей.

— Айтпас, ты не торопись! Не беги! Пусть подольше на травянистых местах пасутся!

Чудной народ! Будто он с женой не знает, где лучшие пастбища.

Отара разношерстная. Одна-единственная. А сколько же сейчас в Шаргайте таких отар?

Килемей прикидывал в уме, считал, сбивался, снова считал. Вроде пятнадцать получается, и не по триста, а по шестьсот — семьсот голов, и не разношерстных, а дорогих, тонкорунных.

Куберге... Он слез с коня, по-прежнему ревниво скашивая глаза на подходившую отару. У дочки Шуры в Кубаше ничуть не хуже отара. Может, даже и получше... Надо Айдара спросить, у кого нынче лучшая отара по ферме. Шура — дочка смекалстая, и в работе с нею трудно спорить. И ее муж Петек такой же.

Привязав коня, еще раз огляделся вокруг. «Какая же это стоянка! Тут поселок целый... Домики. Кошары. А это что там? Баня? Конечно, баня! Вот тебе и стойбище».

Мимо старика, будто стрижи, пролетели веселые звонкоголосые мальчишки на лыжах. Килемей покачал головой. «Как вьюнки. Да смотри ты, какие цепкие, словно приклеенные к лыжам». И тут же мелькнула мысль: «Так ли на конях умеют держаться?»

Позже об этом спросил у табунщика Байрыма Борбуева. Тот хитро прищурил глаза:

— Боюсь, Килемей Иркитович, за них: готовы без уздечки садиться на коня.

Килемей удивился.

— Смотри ты... И грамотен хорошо растут, и наездники. Не мешает, видно, ученость быть и настоящим животноводом... А ты помнишь, Байрым, эликпут в деревне был?— спросил Килемей.

— Как же, эликпут — козлиная нога... Еще бы, помню, ликпункт правильно.

— Ну, я тот лик... пункт тоже вроде кончал... И Айтпас училась. Нельзя было отставать от других. Погоди, кто же тогда председателем был?

— Наверно, Садыков?

— Сырай.. Да, Садыков Сырай,— подхватил Килемей.— Хороший был человек. Очень добрый. Тогда, помню, Ченар Корлокоев за быками ходил. Сирота. Одежки никакой. Осень уже наступила. Он между животными протиснется и греется. Увидел это Сырай, снял с себя полубок и отдал парню. Вот какой он был! И этот самый эликпут открыл... С него ведь и начали?

— Первый наш университет,— посмеялся Байрым.

— Ты вот скажи мне, Байрым, как это время может людей переделывать?— спросил старик.

— Что ж, Килемей Иркитович... У каждого времени есть свои такие силы. Одно время пригибает человека к земле, другое выпрямляет его.

— Верно, Байрым. Разве бы мне с такой семьей можно было выпрямиться в прежнее время? Куда там! Ведь семь ребятишек было! Вон Ирбизек покрепче руки имел. Богатырей валил на землю, а жил как! Я вот все думаю: внуки наши, конечно, придут к коммунизму... Что-нибудь может на время и попридержать их, но все равно люди будут идти к нему. Какой же он будет?

— Наверно, очень грамотный,— подумав, сказал Байрым.— Без этого нельзя. Наука и есть бог всему. А мы чудес с неба ждали.

— Все это верно, Байрым. Все верно.

Полон дум возвращался Килемей Иркитович домой. А самое главное — на душе удовлетворение. Нет, далеко еще до настоящей старости. Килемей еще может и помочь своему селу.

Смотри, какой стала Шаргайта! И, пожалуй, это хорошо, что переехали все к этой речушке Шаргайте. Незамерзающие ключи здешние будто целебные источники. Отстроились люди, богатство в каждый дом внесли. Вот лучшее здание, что это? Своя восьмилетняя школа. А чуть подальше? Там клуб. Пожалуйста, приходи хоть один, хоть с семейством — всем места хватит. Посидишь, кино посмотришь, а то концерт послушаешь.

Тогда колхоз «Большевик» был. Кажется, последний год перед тем как войти Шаргайте в Барагашский совхоз. Присмотрелись знающие люди из района и сказали:

— Быть Шаргайте первым коллективом коммунистического труда.

А почему? Да потому, что шаргайтинцы дружно, поновому жить стали. Сын Айдар рассказывал, как на бюро Шебалинского райкома партии решался этот вопрос. Ферме присвоили звание коллектива коммунистического труда за хорошую трудовую дисциплину. У нас в селе, говорил сын, не было нарушений. Мы намного перевыполнили государственные планы по продаже государству мяса, молока, шерсти. Вели большие культурные мероприятия. Все дети школьного возраста учились.

Правильно говорит Айдар. Правильно. Помнится, в те годы человек по сорок возили каждое утро в Барагашскую школу в старшие классы. Надо ведь отвезти за десять километров и привезти ребятишек обратно. Теперь еще один шаг к лучшему сделан — построена своя вось-

милетка. Ну, а тем, кто дальше хочет учиться, — дорога не заказана. Учись. Время такое.

Как-то в конторе заговорили о том, сколько же ребят в отъезде.

— Давайте считать с пединститута, — предложил председатель месткома Малчы Муклаев. — Ну, начать хотя с Галинки вашей. Значит, Боделукова — раз, Мендешев — два.

— Сельбиков.

— Муклаева Маша.

— Нет, она в педучилище!

— Тогда Михаил Кокпоев!

— Он в зооветтехникуме.

Кто-то предложил считать по дворам, начиная с Верхней Шаргайты. И так из двора во двор, мысленно перебирая каждого члена семьи.

И вот какая открылась картина: в педагогических институтах края учатся одиннадцать молодых шаргайтинцев; в педучилище — два человека; в медицинском училище — тоже два; в зооветеринарном техникуме — пять человек; в сельхозтехникуме — семеро и один в военном училище. Итого двадцать восемь... А каков резерв у села?

В восьмом классе восемнадцать человек, в девятом — двенадцать и в выпускном десятом — шесть.

— Конечно, не каждый из этих ребят осядет в родном селе, — говорит Муклаев. — наших земляков немало в области работает. Вот я знаю, только ветврачами работают трое: Кокпакова, Илюкина, Ойношева.

— А Юхтуева?

— Она медик.

— Правильно. А инженеров сколько? — И Муклаев тут же, загибая пальцы левой руки, стал вслух считать: — Шурка Кулеев — раз...

— Боделуков Петр — два...

— Муклаева Лида...

— А Наталья Ойношева?

— Она дорожный техник.

— А Чальчиков?

— Он юрист... Видите, юрист даже свой имеется.

— Конечно, в обиду не даст шаргайтинцев! — легкая, веселая зыбь смеха, а в нем — законная гордость за людей своего села. Да и село ли это еще! Просто горная де-

ревенька в полсотни дворов, а уже какие побеги в жизнь дала!

И это всерьез, навечно...

Старейший коммунист села, один из тех ветеранов, которые связали свою судьбу с судьбой односельчан в трудные годы становления новой жизни, Баит Матвеевич Могульчин вспоминает о тех первых годах, как о древней легенде. И понять его совсем нетрудно.

— Две силы тогда боролись в каждом человеке, — говорит он. — Одна сила тащила его назад, к старому аилу и личной независимости. Будто гири на ногах, было это самое прошлое в человеке. Другая сила покоряла новизной и к себе тянула, словно магнитом. Ну, о молодежи и говорить нечего. Та, как подснежник к солнцу, рвалась вперед. Ей и пахать вместе, на виду друг у друга легче, и лихость свою на коне показать — одно удовольствие. А вот сразу было заметно: легко и просто отрешалась она от неписаных заветов прошлых укладов. Вот из первой когорты молодых и пошли новые всходы во всем.

Новые всходы... А они родились сильными, цепкими в жизни, упрямыми в делах.

— Помню первый зоотехнический кружок, — вспоминает Баит Матвеевич. — Приезжал тогда к нам зоотехник проводить занятия. Рассказывает он об овце или корове, как о диве дивном. Кому бы пришло в голову, что у коровы надо подмывать вымя, что самый жир в последних каплях молока. Что простую корову можно раздонить, и она прибавит удои. Овечьи болезни, оказывается, предупреждать можно.

Но самым невероятным казалось то, что человек может менять породу животных, добиваться лучшей, высокопродуктивной... Это было настоящим откровением!..

— Зооветкружок этот самый, — говорит Баит Матвеевич, — посещало все население деревни, хотя к учебе привлекали только тех, кто работал в животноводстве.

Это были революционные преобразования, которые не сразу понимали старики. Зато молодежь преданно и беззаветно боролась за все новое.

Как-то летним вечером в урочищах Кудаты раздался грохот. Это вели в Барагаш первый колесный трактор с непонятным названием «Фордзон». Все население Шаргайты сбежалось на луг, к устью речушки, где проходил

в те годы «большак», чтобы посмотреть на чудо, которое само катилось по ухабистой дороге.

И вот трактор, в окружении верховых, показался со стороны Куберге. Перебежал мосток, легко взобрался на горку и покатил к селу. Веселый русский парень управлял им. Остановился на виду у всех, помахал кепкой. Его обступили мужчины.

— Что делать будешь в Барагаше?— спросили его.

— Пахать в колхозе землю.

— Чем?

— Плугами... Два плуга всю потянет.

И верилось и не верилось... Неужели пахать можно? Подковы, правда, хорошие. Цепляется за землю здорово.

Потом ездили в Барагаш на экскурсию. Возвращались возбужденные. Надо заводить самим таких железных коней. Ни сена, ни овса не надо. А сила какая!..

...Появились тракторы, и не один. Было это уже вскоре после войны. Нашлись и свои мастера. Не могли они не появиться. Время на таких людей работало.

Одними из первых смело оседлали «железных коней» Амыр Борбуев, Анчи Мундукин и другие смекалистые мужики.

Ну, а теперь их в Шаргайте десятка два, не меньше — и трактористы, и комбайнеры, и шоферы. Время дало им и знание и смекалку.

— Теперь в селе,— рассказывает Баит Матвеевич,— свои зоотехники, ветеринарные работники, учителя. Грамотными стали чабаны. Хозяйство ведут с расчетом. Есть хорошая новинка: в Кубаше в отарах Петека Қокпакова и Ярдака Лапасова идет большой эксперимент — зимний окот. Ничего идет, хорошо... Человек стал планировать время окота. Получает приплод такой, который ему выгоден. И действительно, вот в эти дни идет ягнение. На дворе — февраль. К осени ягнята взрослыми овечками станут.

Выгодно?

Да, Килемей Иркинович, хорошо пошли в жизнь ваши сыновья и внуки. На глазах преобразилось село. Ради этого стоило и жить и работать. А ваша сноха, Килемей Иркинович, Эчиш, которая замужем за Тавытом, как-то нынче летом собрала женщин (она ведь председателем женского совета у вас) и давай выпытывать, у кого оста-

лись чегедеки<sup>1</sup>. И вот ведь ужас какой: ни одного чегедека во всей Шаргайте не оказалось!..

Посмеялись женщины и задумались.

— Надо бы хоть для сцены иметь чегедек,— сказала Эчиш. И с ней согласились. Отрядили Эчиш в город достать шелку, бархата. Привезла. Лучшую мастерицу попросила сшить чегедек.

— А без него нельзя,— говорит Валя Ойношева.— Как покажешь старую жизнь без него!

Так старина становится музейным экспонатом.

Да, стоило для этого жить, Килемей Иркинович. Стоило. Еще есть время и на новые перевалы взойти с односельчанами. Новые стоянки будут расти, повысятся надои, увеличится производство мяса, поднимутся урожаи зерновых. К этому шло все эти годы твое село. А кажется, шагают они, эти годы, где-то рядом, и трудные и светлые. Последние почему-то ярче горят в памяти. Так, видно, устроен человек — жить радостью... Она ведь не старит, радость-то...

### Тойлош Мендешева

Над урочищем Быргасту, что раскинулось за Яконуром, у подножия Келейского перевала плывет задумчивая девичья песня. Солнце ушло за перевал, оставив в долине громкий плеск неугомонной Быргасту да девичью песню, которая вплетается в шум волны, в шелест могучих деревьев. И кажется: поет все урочище светлый гимн ушедшему трудовому дню.

Старшая доярка Тойлош Мендешева вышла из легкого пастушьего аила, чтобы встретить коров, которые вот-вот должны прийти на стоянку. Недовольна была сегодня Тойлош настроением молодого пастуха Давида Итушева. Еще утром, до того как погнать коров на пастбище, Давид, недовольно морщась, сказал:

---

<sup>1</sup> Чегедек — платье, которое надевается на свадьбу и не снимается всю жизнь, даже не стирается. Таков был обычай. При Советской власти женщины-алтайки с радостью избавились от него (алт.).

— Положено два пастуха, тетушка Тойлош, на такое стадо? Положено. Почему я должен за двоих работать? Молодой, а ленивый и, всего хуже, безразличный какой-то.

Могла ли забыть этот утренний разговор Тойлош?

И, подседлав коня, она едет к перевалу, на выпасы.

«Надо поговорить с парнем. По душам поговорить», — решает Тойлош.

В лесу, где разбрелись коровы по косогору, сразу заметила ошибку пастуха. В низине, у небольшой горной речушки, хорошая трава, а главное — вода рядом.

— Не бойся воды, Давид, — сказала она. — Сытой корове она только на пользу...

— Но я поил их, — удивился пастух.

— А ты не гони коров на косогор. Увидишь, сколько раз они сами пить будут... Не обижайся, Давид. Ты можешь стать хорошим животноводом. Главное, чтобы не потусквели глаза твои раньше времени. Примечай повадки коров и помогай им своей смекалкой.

Промолчал парень, ожидая от старшей доярки упрека за утренний разговор.

— Я не обижаюсь на тебя, Давид, — сказала спокойно Тойлош. — Правда, на такой гурт два пастуха положено. А где взять второго, когда в колхозе такая горячая пора наступила — и корма нужны, и хлеб созрел. Ты хочешь, чтобы делали мы большое дело без труда? Тогда и дело не в дело... Ты посмотри, Давид, вот на эти две березки. Одна выросла в согре, по колено в воде, другая, вон та, что на скале, изогнулась, из щели между двух камней вытянулась — она, может, воду только дождевую пила. А присмотришь, Давид, которая из них крепче? Август идет, эта, в согре которая, уже трясет желтым листом, да и сердцевина небось плесенью, трухой подернулась. А та, которая рада капле воды, красуется своим зеленым нарядом... Нет, Давид, не все бывает хорошо то, что легко дается.

Посмотрел парень на эти березки и про себя удивился: правильно говорит тетушка Тойлош. Смутился. Молчит.

— А вот послушай, Давид. Вспомнилось мне, как я зимовала однажды со своей отарой в урочище Ак-Кайры. Комсомолкой тогда была. Шла война. В колхозе на нас, девчонках, все хозяйство держалось. Овечки — дело

с детства знакомое. Но я в то время в полеводческой бригаде больше работала. Признали во мне талант механизатора. И правда, не боялась машин. Быстро их понимала. Наступила зима, а на отарах чабанов не хватает. Вызывает меня парторг и говорит: «Выручай, Тойлош, бери отару. Некому. Сама видишь». А в комсомоле мы так воспитывались: где труднее, туда иди. И не просто иди, а покажи себя.

Тойлош внимательно посмотрела на парня и продолжала:

— Отсчитали мне отару. Помощницу дали — племянницу мою. Девчонке двенадцать лет. Пригнали мы отару в Ак-Кайры. Сейчас там большой дом стоит, а тогда избашка да старая холодная кошара — вот и стоянка. Но мы не испугались. Пасем зимой. Тебенюем по косогорам. Много буранов и злых морозов пережили с ней... В марте теплые ветры подули. Обрадовались. И вдруг в самый окот повалил снег, да такой, какого в январе не видели. Навалило его по колено. А сена на зимовке — ни клочка. Кричат овцы, есть просят, а где что взять? Один выход — чистить склоны. Добрались мы до первого склона и давай лопатками орудовать. К обеду небольшую площадку очистили, овец на нее выгнали. И снова чистим. И так изо дня в день почти весь месяц... Машешь лопаткой, а в глазах темно — сами-то одним чаем, считай, питались. Началось ягнение, а мороз крепчает. Куда ягнят девать? Таскаем их в свою избу. Выжили они нас. Ушли мы с помощницей на улицу, к костру. День — на горах, вечером — у огня на улице. Вот так было, Давид...

— Ну и как? — спросил пастух.

— Отстояли овец. И ягнят сохранили полностью.

Пастух с уважением посмотрел на сухонькую, со строгим взглядом черных глаз женщину, на ее такие же сухие руки в синих вздувшихся прожилках и, может быть, впервые в жизни посмотрел в этот миг со стороны на себя, на свои дела и поступки.

Уехала Тойлош на стоянку, сказав напоследок, будто между прочим:

— Наша бригада с апреля переходящий флажок держит, Давид. Так? Так. По надою наш гурт впереди идет в колхозе. И все знают, Давид, все любопытствуют, издали за твоей работой наблюдают. Ведь от тебя зависят эти надон.

...Вечером смотрит Тойлош в верхове Быргасту, ждет гурт, а в голове осторожная мысль: «Как он, Давид? Задел ли за сердце парня разговор?»

А над долиной вьется, будто жаворонок, девичья песня. Распускает закатное облачко красные косички по всему небу, то заплетая, то расплетая их.

«Хорошо поет Валя,— прислушивается к песне Тойлош.— Наверное, сметали все сено».

А вот и Давид...

Довольная идет Тойлош к месту дойки. А идти ей трудно. В последние дни совсем разболелись ноги. «Неужели дождь снова?— с беспокойством оглядывает узкий горизонт Тойлош.— Мало еще сена поставлено, мало. Недельки б две еще надо, не меньше».

На долину Быргасту ложатся плотные тени. У речушки слышен звон тугих молочных струй о подойники. Не может привыкнуть Тойлош к этому вечернему часу. Всегда он волнует. Она обходит гурт, внимательно осматривает коров, опытным глазом отмечает напор молока.

— Слышишь, тетушка Тойлош, как звенят подойники?— не сдержался молодой пастух, всем своим видом показывая, что и он не безразличен к дойке. Тойлош ласково, понимающе смотрит на парня.

— Слышу, Давид, слышу.— Она одобрительно кивает ему.

Парень сконфуженно улыбается и, кашлянув в кулак, вдруг серьезно добавляет:

— Пусть не заботятся в Яконуре. Раз такое дело с людьми — один справлюсь.

Нет, не разучилась находить путь к сердцу людей коммунист Тойлош Мендешева. И от этого самой ей становится радостно.

...Тойлош сидит у костра, вытянув к огню ноги, и вприщур смотрит на пламя. Но далеко видит острый глаз старого животновода. Она заметила сразу же дымок у перевала, это вечерний привет соседа — чабана Кылу Ильина. Хороший чабан. Старательный, дельный. На виду рос, ничего не может сказать плохого про него Тойлош. На днях сама предложила ему рекомендацию в партию. Знала, все равно спросят ее мнение о чабане. И Кылу знает, что не каждому даст свою рекомендацию Тойлош. Ее доверием можно гордиться.

К костру одна за другой подходят молодые доярки. Они весело рапортуют Тойлош об окончании дойки. И хитрые девчонки — до этого они не упоминали имени пастуха, а сегодня сначала о нем говорят, а потом о надое. Прячут довольную улыбку. Тойлош правится их безобидная маленькая хитрость. И Давид тут же. Он каждый раз, когда упоминается его имя, опускает глаза, сдвигает к переносице темные брови. И кажется, что он даже повзрослел за этот день. Тойлош понимает его состояние. Так всегда бывает с человеком, когда он почувствует вдруг себя равным членом дружного коллектива.

«Как бы не осуществил свою угрозу секретарь парткома Юстыков, — думает между тем Тойлош, вспоминая его слова: «Не поедешь на курорт — выкраду, как раньше невест воровали!» Она улыбается. Очень некстати это будет... Подойдет время — сама поеду за той самой курортной картой. Ничего, поскрипят еще ноги, подождут».

Ей приходит в голову забавная мысль. Она тут же обращается к девушкам:

— В копнах сено осталось?

— Есть. Еще на целый стог наберется, — быстро говорит Ира Кудачина. — А что?

— Придется поторопиться... Завтра дождик будет.

Девушки, как одна, поднимают головы кверху — над Быргастинским урочищем мирно сверкают чистые звезды. Из ущелий тянет прохладой. Совсем не похоже, что будет дождь. Такой вечер обычно к сильному инею, в горах ведь так, а раз иней, то какой же дождь? Девушки вопросительно смотрят на Тойлош. Та загадочно щурит глаза.

— Мой барометр показывает, — она кивает на свои ноги. Все смеются, а Тойлош добавляет: — Видите, как удобно получается. Заранее погоду узнаем. И радио можно не слушать. Точный барометр. А Юстыков грозит испортить нам все дело. Какой уж там будет барометр после курорта... — Она тихо смеется, но ее никто не поддерживает. Шутка явно не удалась. Чувствуется замешательство. Наконец самая смелая, Валя Кандырова, посмотрев многозначительно на девчат, говорит с легким укором:

— Не надо барометра, тетушка Тойлош. Мы и без него обойдемся. Правильно говорит Юстыков.

Приятна забота тех, о ком ты сама постоянно думаешь. Теплым ручейком согревает сердце такое внимание коллектива.

— Спасибо, девушки. Я рада за вас. Теперь вижу: выросли вы, по-настоящему выросли.

...Горит костер в урочище Быргасту. Темно становится в долине. Кажется, это лиственницы и ели сбежали со склона и столпились темной массой недалеко от стоянки. И горы сдвинулись, склонили свои вершины в долину. Древние горы, они много помнят. Много тайн прошлого хранят их омытые дождем и ветром угрюмые камни. Помнят они, наверное, и как на стоянке бедняка Мендешева,— давно это было, в канун революции,— родилась дочь. Мальчишку хотел отец, батрачивший в то время у кулаков Белого Ануя и местных баев.

«Что ждет ее?— говорил отец.— Кому нужна дочь бедняка. Плодить с таким же бедняком нищету?»

Ты, может, помнишь, Быргасту, черноголовую, быструю, как хайрюзок, девчонку, которая часто заглядывалась в твои струи, напевая беззаботную песню? Она ходила с отарой вместе со своей теткой по твоей долине, по этим склонам гор. Она копала ранней весной кандык и лакомила его вкусным корешком. Цветы собирала и плела венки. Не было звонче голоса в долине твоей, Быргасту, чем голос этой девчонки. От кочевья к кочевью несла свою песню Тойлош. В этой песне жила мечта о счастье. Песня с каждым днем мужала, а счастье все не приходило к кочевому анлу Тойлош.

— Хоть песней потешишь свое сердце, Тойлош,— говорила тетка.— А где оно, счастье? Зайсанов прогнали, а разве у бедняков от этого богаче стал толкан? Вот сно-ва заняла ячмень у этого черта, у родни Адырхаха Тышкылова. Бая не стало — его родня осталась. За ячмень шерсть просит.

— Ничего, эде<sup>1</sup>, потерпим... Скоро будут перемены. Скоро! Вот увидишь!— говорила Тойлош, не решаясь пока рассказывать о том, что услышала вчера от подружки своей по кочевью Селем Ертешевой. Приезжал к ним знакомый почтальон из Козули и привез новость: собирается народ покончить с кочевьем. Одной семьей хотят люди жить, по селам. И хозяйство вести вместе.

— Тогда и мы, девчонки, будем вместе,— сказала

<sup>1</sup> Эде — родная тетка (алт.).

Селем.— А то сидим, будто кукушки, каждая в своем ущелье...

Правду говорит или придумала все это Селем? Она может. Но разве такое придумаешь? Нет, такое и самому знаменитому кайчи не придет в голову.

— Жди, Тойлош, жди. И до нас дойдет это,— шептала Селем.— Только не торопись, жди...

С этого дня все чаще и чаще стали перелетать от стоянки к стоянке удивительные и не совсем понятные новости. Будто и молодежь организуется в какой-то комсомол. Что это такое? А наверное, интересно, потому что говорят, это первый помощник большевиков. А большевики — те самые люди, знала Тойлош, которые смело расправились с бандитами, баями, зайсанами. Говорят, большевики к объединению зовут людей.

Взбудоражили эти новости урочище. Много разговоров пошло. Часто на стоянку приезжали соседи. Злые языки разносили слухи, будто колхозы — это обман. Заберут весь скот у доверчивых людей и заставят питаться сусликами. Испугалась этих слухов тетка.

— Ты слышишь, Тойлош? Емуранок заставят есть! — говорила она.

Но Тойлош не могла не верить большевикам. Не станут они обманывать народ. Они за него кровь проливали во время гражданской войны. И давно уже образ большевика сложился у Тойлош в легендарного героя-богатыря. Втайне она сама сложила песню о таком герое. Он поднялся выше гор, красивый и сильный. Глаза у него, как два солища горят... На голове, изогнувшись ярким месяцем, в звездах искрится шлем. Взмахнул мечом богатырь-большевик — летят по ущельям лисьи головы врагов. Поднял вторую руку, опустил ее — и невиданные цветы ярким ковром зацветают по склонам гор и речным долинам. Это цветы новой жизни. Цветы счастья.

— Нет, эде, нет,— горячо говорит Тойлош.— Ты не скажешь, эде, почему пересыхает старая речка в соседнем ущелье? Нет? А я знаю,— Тойлош загоревшимися глазами смотрит на тетку.— Та речка отдает в знойное лето всю воду ручьям. Отдает и сама худеет, худеет, пока совсем не истощится... Вот почему. Теперь посмотри на нашу Быргасту. Она пробивается из-под земли тоненьким слабым родничком, а вот уже у нашей стоянки сама ворочает камни и убирает их со своего пути. Почему?

Тетка смеется.

— Хитрая же ты, Тойлош... Да потому, что в нее сотни родничков стекаются.

— Вот так и колхоз, эде...

...Это был самый яркий день в жизни Тойлош. С утра в село Яконур съезжались из урочищ люди. Ехали верхами, на таратайках, шли пешком. На широкой площади села, точно базар, вырос большой табор. Кое-кто уже успел разжечь костры. Кипятят чай. Многолюдно, оживленно...

Тойлош быстро разыскала свою подружку Селем. Обрадованные, довольные, ходили они по Яконуру в ожидании чего-то необычного.

— Посмотри, Тойлош, сколько здесь солнца,— говорила Селем, и глаза ее счастливо горели.— И мы здесь будем. Мы будем тоже тут, Тойлош.

— Хочешь, я и тебя познакомлю с ними?— тормошила она Тойлош.— Пошли! Вот Саанчи Токпокова, вот Ерке Батакина, вот Казанчи Тоенова... Знакомьтесь! Знакомьтесь!— звенел задорный голос Селем. Девушки стеснительно закрывали друг перед другом лица, а глаза все же сверкали любопытством и весельем. Все было так необычно и ново!

— Не закрывайтесь!— командовала Селем.— Привыкли прятаться по ущельям. От солнца не спрячешься. Девушки смеялись и смелее глядели друг на друга.

— Боевая ты, Селем,— сказал несколько дней спустя председатель колхоза.— Быть тебе, пожалуй, вожаком в молодежной бригаде.

Но вожаком стала не Селем, а Тойлош. Она первой из подруг пришла в комсомольскую организацию и сказала, что если уж по-новому жить, так она хочет, чтобы во всем по-новому. И если верно, что комсомол — смена большевикам, то пусть будет, чтобы и она была этой самой смелой.

Откровенные слова молодой пастушки понравились комсомольцам. Да и сами они с первого же знакомства понравились Тойлош. Среди них была молоденькая учительница, парень-избач и еще кто-то из Усть-Кана.

— Ты хорошо, правильно поступила, Тойлош, что пришла к нам,— сказали ей.— А знаешь, каким должен быть комсомолец?

— Он должен быть... сознательным борцом,— несмело сказала Тойлош.

— Да, это так. Но чтобы стать сознательным, надо много учиться, Тойлош. Учиться и работать. Не бояться никаких трудностей. И еще, Тойлош, если потребуется, не пожалеть жизни. Ты слышала небось, в горах еще бродят бандитские ватажки? Правда, недолго бродить им. Никто их не поддерживает, и они, как звери, рыскают по темным урочищам. Но ведь всякое может случиться, Тойлош. Ночи у нас бывают темные.

— Я не боюсь темных ночей,— сказала Тойлош и смело посмотрела в глаза ребятам.

Так Тойлош стала комсомолкой. Шел 1931 год. Время было трудное на Алтае. Колхоз делал еще первые робкие шаги.

Быть впереди. Вести за собой других. Стать примером в труде — таким было первое комсомольское поручение Тойлош.

Когда в колхоз пришла первая косилка, оказалось, что нет людей, умеющих обращаться с ней. Тойлош, присмотревшись к машине, подошла к бригадире и попросила:

— Дайте мне. Я сумею справиться с ней.

Бригадир недоверчиво посмотрел на девушку и усмехнулся:

— Она кусается, Тойлош...

— Меня не укусит. А ну, давай коней.

Ее тон и решимость поколебали бригадира. Он приказал запрячь пару лошадей.

— А за тебя отвечать не придется, Тойлош?

— Не придется, бригадир.

Несколько дней изучала Тойлош косилку. И поехала на покос. Выровняв лошадей, опустила полотно, и... загремела шестеренка, застрекотала в траве пила. Качнувшись, покорно упали метелки полевой тимофеевки, замелькали в глазах Тойлош красные, синие, голубые соцветия цветов, подкошенные в рядки...

Она освоилась с машиной. Разглядела взаимодействие ее частей и удивилась: кто тебя учил, Тойлош, обращаться с косилкой?

И тут же решила: «Когда сердце требует быть впереди, когда дело требует твоих рук и смекалки — комсомолец должен найти это все...»

В те годы в Якофурской долине считали, что пахать и сеять — это дело степняков.

«Будем поднимать земли,— сказали колхозники.— Как степняки. На одних травах не поднять стада. Овес пужен, ячмень».

А животноводство росло с каждым годом. Уже много стоянок с колхозным скотом появилось в горах. Нужна была прочная кормовая база. Десятки упряжек вышли в поле в одну из весен. Не хватало плугарей. И Тойлош заявила в правлении:

— Пойду. Буду пахарем...

— Хорошо,— сказали там.— Ты получишь плуг. Учти, Тойлош, если норма в первые дни не получится, не особенно расстраивайся. Земля тяжелая. Да и дело для тебя непривычное.

Подружки не отставали от Тойлош. Им тоже отвели участки, и девушки остались одни в поле. Нелегко идти за плугом, когда он то и дело вылетает из борозды, натывается на камни. К полудню устали кони.

— Похоже, не вытянем норму,— сказала, озабоченно поглядывая па поле, Тойлош.— А из комсомольцев на пахоте только мы, девчонки. Узнают про нашу плохую работу — будут смеяться. Надо подналечь.

...Никто не упрекнул комсомолок за весенний сев. Они шли впереди.

Быть впереди... Это почти всегда трудно. Быть впереди — значит уметь находить в себе силы и там, где другой бессилён. Так первое комсомольское поручение стало законом всей жизни Тойлош.

И вдруг — война. Яконур опустел. Тойлош хотелось уйти вместе с другими на фронт, но у нее было поручение. И правильно сказал ей как-то секретарь райкома:

— Фронт и здесь, Тойлош... Он бескровный, но не менее трудный. Помни, на том и другом фронте победит сильный духом.

Сильный духом... Значит, комсомольское поручение остается в силе. Потому что быть впереди и вести за собой других может только человек, сильный духом.

«Да,— сказала тогда себе Тойлош.— Ты должна стать еще сильнее, чем прежде, и тогда враг почувствует на себе силу и твоего удара».

Это были трудные годы. Люди, отказывая себе во всем, работали от зари до зари. Надо было выстоять.

Помнит Тойлош, лето стояло дождливое, и рано выпал снег. Работала она в поле то на косилке, то запрягла коней в грабли и сволакивала в валки ячмень. А когда женщины падали от усталости на солому и тут же засыпали как убитые, Тойлош брала деревянные трехрожки и начинала копнить.

— Ты железная, Тойлош,— говорили ей подруги.

— Я только хотела помочь вам,— говорила Тойлош.— Видите, снова дождь надвигается...

Подремав с вечера часа два, не больше, Тойлош становилась к барабану молотилки и до самого рассвета не отходила от него. У барабана не задремлешь. Нужно работать быстро и сноровисто. Так за ночь намашется руками Тойлош, что не своими кажутся они наутро. Но, преодолевая слабость, она снова и снова идет туда, где труднее, где требуется сметка в деле, упорство и настойчивость.

Нет, не был в трудные годы хуже других твой родной колхоз, Тойлош. А когда окончилась война, он набрал такие темпы в своем росте, что людям по плечу стали любые задачи. Около пяти тысяч гектаров стали засеивать в Яконуре. Мощный парк комбайнов, автомашин и тракторов имеет теперь колхоз. Более шестидесяти животноводческих стоянок разбросано в его горах. Одних овец около сорока тысяч голов. Отстраиваются дома для животноводов. Образцовыми становятся фермы.

Коммунист Тойлош Мендешева — снова на ответственном участке: она заведует самой крупной молочно-товарной фермой. Если подсчитать все молоко, которое сдала Тойлош от своих коров, то, пожалуй, получилась бы речка не меньше, чем Быргасту. А главное, что радует Тойлош: выросли люди в колхозе. Сейчас немало у них прекрасных организаторов из молодежи. И Тойлош видит: переняли многие из них хватку первых комсомольцев. И хорошо Тойлош от этого, тепло и радостно на сердце.

Нет, не может пожаловаться Тойлош на свою дорогу. Хорошо шла она от перевала к перевалу.

...Горит в урочище Быргасту костер. Уже скрылся месяц где-то за Келейским перевалом и посерело небо, а он все не тухнет. И его жаркое пламя играет на восторженных лицах молодых доярок.

## Девичьи плесы

У Кумира нет такой громкой славы, как у Катуня, Урсула или Чолушмана. О нем поэты не слагали песен. И легендами он не особенно богат. Но тот, кто побывал на его берегах, навсегда сохранит в своей памяти необычную голубизну его вод, стремительный бег волны, хрустальную прозрачность заводей и шум водопадов.

В долине, недалеко от горной деревеньки Талицы, он сдерживает свой бег и раздается вширь. Пенятся, кипят перекаты. Разноцветная галька и камни сверкают на солнце с самого дна. Трудно поверить, что это обычная горная вода. Кажется, что где-то в горах под белками плавится голубой хрусталь и стекает мощной лавиной вниз, сюда в долину, навстречу с Чарышом. Здесь, в этой небольшой долине, мы и встретились с легендой. Ее нам рассказал старик алтаец. Он назвал только свое имя.

— Николай,— сказал и добавил:— Из сеока<sup>1</sup> телёс.— Подумал немного и молодо сверкнул насмешливыми глазами:— Был когда-то... Теперь у нас один сеок. Так-то посылнее будет. Правильно говорю?

Пожалуй, правильно. Не сеоками поднимать новую жизнь, а сообща.

Потом старик подошел к реке и долго смотрел на нее. С трудом оторвав взгляд от реки, покачал головой и стал разматывать лесу.

— Если правда, что удав может своим взглядом подтянуть к себе ягненка, то почему бы такой легенде о Кумире не быть тоже правдой? Смотрите, как притягивает к себе эта река! Не оторвешь глаз. Так бы и смотрел и смотрел на нее.— Старик сбросил в траву кожаную суму, сел на нее, поблескивая из-под ресниц лукавыми глазами.

Солнце клонилось к закату. Его лучи скользили по серой скале, что высилась перед долиной. Вспыхнул рубец высеченной в скале древней дороги и погас. Легкие тени заскользили по реке, где-то здесь начиналась легенда, у этих перекатов. Потом она уходила вверх по течению до самых Девичьих плесов. И еще выше — до водопада, а от него — ко всем урочищам. В легенде — мудрость далекой старинны, а может быть, и мечта народная.

<sup>1</sup> Сеок — род, племя (алт.).

Давно это было. Так давно, что и троп не осталось в горах, на которых бились с захватчиками-джунгарами храбрые воины из алтайских союгов. Обрушились тропы от времени, заросли деревьями. А легенда живет и будет еще долго жить, потому что остались Девичьи плесы. Они-то и сохранили память о тех днях, когда алтайцы боролись за свою независимость.

...В урочище Мендой прорвался отряд джунгаров. Хотя и много полегло их на горных кручах, но часть во главе с князем, одноглазым свирепым стариком, пробилась к урочищу. Позорный плен, рабство ожидало его жителей. Камнями, стрелами отбивались они, пока совсем не обессилели и не полегли в неравной битве. Осталось во всем урочище три девушки.

— Не попадай в руки мучителей, — сказал, умирая от тяжелой раны, отец красивой гордой Мерей. — Уведут к себе как невольницу. Не увидишь никогда больше родины. Нет беды страшнее, чем умереть вдали от родных мест.

— Не беспокойся, отец, позора не примем, — сказала Мерей и позвала подруг.

— Наш путь лежит через вражий лагерь. Прорвемся или умрем. Больше дорог нет.

Одна из девушек, дочка бая, сбежавшего из урочища, испуганно замахала руками:

— Что ты, Мерей! Девушек воины не трогают. Так отец говорил.

— Твой отец трус. Он предал народ, — сказала гневно Мерей. — Оставайся. Встречай гостей, а мы решим иначе. — Она метнула взгляд на другую подружку, и та поняла ее...

Один конь во всем урочище. Но это был добрый аргамак. Сели на него девушки и ринулись на врагов. Многих недосчитались завоеватели, пали они от мечей девушек. Бил копытами вражий головы аргамак. Рвал зубами.

Вот уже к стану самого князя пробиваться стали. Удивился тот храбрости девушек, велел живыми взять их. Бросились враги со всех сторон. Раздались крики:

— Живыми! Это приказ господина!

Услышала Мерей. Видит — не пробиться.

— Лучше смерть! — крикнула она.

— Лучше смерть! — подтвердила подруга.

Рванула повод Мерей и направила коня со скалы. Взылся тот над пропастью и упал вниз.

И тотчас в том ущелье вырвалась из-под земли река. Это аргамак никак не остановит свой бег. Мчится по камням, срывается водопадами, ревет в узких ущельях непокорной волной.

Только в том месте, где упали девушки, образовался тихий плес. Хрустальные заводи просматриваются до самого дна.

Увидел со скалы красивую реку предводитель завоевателей и не мог оторвать от нее глаз. Она притягивала его, звала, и не было сил сопротивляться ее силе. Шагнул навстречу тем заводям старый князь и сорвался со скалы в воду, чуть повыше плеса. Вскипела в том месте вода. И до сих пор не может успокоиться. А прошло уже столько лет.

...Мчится по ущелью Кумир. Вольной птицей летит на простор, на свободу, и кажется, нет такой силы, которая могла бы обуздать его, сдержать, приостановить.

И только в одном месте он тих и ласков. И струи его как шелковые девичьи косы. Это место называется Девичьими плесами. Почему оно так называется? Может быть, как-то по-своему права легенда, а может, потому, что нет на Кумире более прелестного уголка, и человеку хотелось назвать его ласковее, красивее.

...Когда вы, спускаясь с берега, поросшего березками, на коричневые каменные плиты, заглянете в светлые заводи плеса, может быть, вам придет в голову более полное сравнение, а пока — Девичьи плесы, как подсказывает легенда.

Такой  
у нее  
характер

Сегодня наш путь на Усть-Тайбылky. На стоянку Марии Толтоковой, той самой Толтоковой, которая стала Героем Социалистического Труда. Первым Героем в Балыктуоле. Первым во всем Улаганском районе. За годы своего чабанства она вырастила около восьми тысяч коз, сдала колхозу тонны пуха.

...Дорога идет через лес. Тропа путаная. Но она единственная на Катуюрык. До него далеко, и тропка задолго

до этого спуска к Чолушману свернет вправо. Нигде тропа не взбегает на гору, кажется, всюду ровное место, а у самой речушки Тайбылки вы окажетесь на страшной высоте. Где-то там, внизу, шумит, клокочет мощная река. Это Чолушман. Но к нему нелегко спуститься. А спуститься надо, потому что в его долине на самом берегу и стоит юрта Марии Васильевны. Когда войдете в юрту, в дымоход ее увидите вершину той скалы, по кромке которой пробежала ваша тропа. Даже темные лапы кедрача видны. А весной в ясные дни через тот же дымоход врывается солнце. Упрется в кочму на полу, высветит трепетный круг и через час потушит. Уйдет дальше. А зимой совсем не бывает. Зимой у солнца еще короче путь.

Около юрты — кошара. А рядом, всего шагах в тридцати,— причудливой формы ледяные торосы. Тут и абажуры из перламутра, и гирлянды из стеклянных бус. Все это мастерит за зиму беспокойный Чолушман. Не сдается морозам. Мастер он великий на поделки из льда. Лепит вокруг застекленевших валунов разные красивые безделушки, а под лед не идет. Так и гремит, и шурует голубой лапой меж камней. Сдается лишь в самые суровые зимы.

— Как медведь-шатун,— смеется чабан.

Весной там, где-то в кедраче, наверху, трубят маралы. Иногда на восходе солнца вырастает, как изваяние из бронзы, красавец архар. Стоит, не шелохнется. Смотрит вниз. Он — житель заоблачных высот. Ему не по душе низкие долины. А интересно, похоже, посмотреть на это голубое чудо — Чолушман. Послушать его музыку. Понаблюдать за своими далекими сородичами — домашними козами, которых пасет по гребням гор Мария Толтокова. Но шумная бравурная музыка горной реки опасна для архара. Заслушаешься — приворожит. Потеряешь бдительность. Этим и воспользуется хищный зверь. И архар чуток, быстр, как молния.

С прибрежных скал почти к самой юрте осыпается курумник. Он постоянно в движении, будто парус. Сыплется и сыплется песок. Звенит, перекатывается вниз галька и мелкая щебенка. А он все растет, этот каменный парус, тянется кверху, словно думает сравняться с островерхими гольцами. Придет время, и он, этот курумник, испытает мужество человека.

...В ту трудную зиму Мария Васильевна жила на стоянке вдвоем с младшей сестрой Лизой. Они подняли за лето «зелёнку» — смесь овса с ячменем — на небольшом прибрежном участке. Поливали вручную, будто капусту на огороде. Берегли от коз. Редкой была «зелёнка». Какой там на песке посев! И все же, скосив и убрав все до соломинки, поставили прикладок у самой кошары центнеров, может, на двадцать. Это богатство. И нужно было сохранить его для козлят. Но зима навалилась страшными морозами. Даже Чолушман упрятался от стужи. Гудит где-то подо льдом, а наружу пробиться не может. Сил не хватает.

— Скоро четверть века мы на этой стоянке, — говорит Мария Васильевна, — а такой зимы не видели, как в тот год была. По этой каменной трубе, — показывает она на долину Чолушмана, — круглые сутки дули холодные ветры. Они накаляли камни так, что многие рвались, будто бомбы... Нынче уйма снега, но зато теплее. Козы целый день на склонах пасутся. В ту зиму ветры ломали даже кустарник, а старую траву срезали, словно косой, и уносили.

Угрюмые голые скалы. В речной долине — серая от пыли метель. Отара, похожая издали на разбросанные камни, облепила заросли караганы. Чабан, надвинув поглубже шапку, проверила, крепко ли сидят на теплых обутках клыкастые железные «кошки». Подтянула ремни, чтобы надежнее было, полезла в гору. Без этих «кошек» нельзя чабану. Козы всегда лезут на головокружительные скальные кручи. В обычных сапогах или ичигах за ними не подняться. С одной из высоток заметила, что на предплечье соседней скалы Кок-Кая сохранилась хорошая трава. Площадка ровная, большая. На ней вместится пол-отары. Но как попасть на этот «прилавок»? С бровки площадки до земли — аркана два, не меньше. А это значит, метров за двадцать. Скала стоит отвесно. Попробуй забраться по ней к траве. А что, если воспользоваться курумником? Вершина его подходит к самой площадке.

Не очень круто.

Мысль о травяной площадке не давала чабану покоя до самого вечера. На стан козы возвращались неохотно. Видела это, понимала: полуголодными идут в кошару.

— Придется немного дать им,— кивнула она сестре на стог «зелёнки».— Только немного. Впереди окот, самое трудное время...

— А ты далеко собралась?— спросила сестра, видя, что Мария и не думает снимать «кошки».

— В разведку,— коротко бросила та и пошла по берегу к Кок-Кая.

Без особого труда поднялась она по осыпям курумника на предплечье горы. Обрадовалась: в нише скалы было немало любимого козами мелкорослого кустарника, а вокруг — желтая трава. Ее много.

— Вот тебе и пастбище,— улынулась Мария Васильевна и на минуту задумалась: надолго ли его хватит? Прикинула в уме. Подсчитала. Дней на пять. Это уже здорово. Не каждый зимний день выпадает такое счастье. Вечером посоветовалась с сестрой.

— Ты думаешь, курумник выдержит отару?— спросила Лиза.

— Ну, всю отару — опасно, — согласилась Мария, — голов по десять будем пропускать. С сотню поднимем — и хватит.

— Значит, не всех?

— Конечно. Площадка не очень большая. К чему толкучка? Потопчут траву без толку.

Раз десять поднимались и опускались вниз Мария с сестрой на другой день. Удалось поднять более восьми-десяти коз.

— Удобно устроились,— глядя снизу на коз, смеялись сестры.— За ними и присмотра никакого не надо.

Оставшихся коз разбили еще на две группы и развели в разные стороны. Совсем обеднели выпасы. Надо как-то приспособливаться. Использовать каждую складку гор, каждую трещину в скалах, где еще сохранился кустарник. Козы не очень-то прихотливы. Но и их стало трудно прокормить в такую суровую зиму. А что будет с пухом к весне? Было о чем подумать старшему чабану Марии Толтоковой в те трудные дни.

...Нелегко сложилась жизнь сестер Толтоковых. Когда Марии было не более семи лет, а Лизе и того меньше, остались они круглыми сиротами. Спасибо добрым людям. Помогли. Уже к десяти годам Мария была отличным чабаном. А в пятнадцать ей доверили отару.

Сколько же ты воды унес с тех пор, Чолушман? Небось целое море. Отары менялись — поколение за поколением. Будто прибой: рос молодняк — уходил в другие отары. Его сменял новый.

Накапливался опыт. И приходили сюда молодые девчонки из Балыктуюля. «Ты нас поучи, Мария Васильевна, как и что. Хотим стать чабанами».

Милые девчонки... Да разве его, этот опыт, можно передать так сразу, за несколько дней! Его и за все лето не передашь. Потому что лето от лета разнится. Да и вообще ей как-то неудобно говорить о своем опыте, когда в колхозе есть чабаны, которые уже полвека ходят за отарами... Но если вы такие нетерпеливые, можно кое о чем и рассказать.

...Это были счастливые минуты в жизни Марии Васильевны. Их трудно забыть. Напрасно иногда думалось, что совсем они одинокие с сестрой на этой дальней стоянке. Помнят о них в колхозе. Даже что-то вроде передовой школы для чабанов решили организовать тут. За теми девчонками приезжали другие. Потом сам Арсентий Васильевич Санаа — председатель колхоза — наезжал не раз вместе с секретарем партийной организации. А совсем недавно корреспондент заглянул. Не случайно все это. Опыт, конечно, есть. Только как о нем словами сказать? Чего хотят девчата? Может, про козлят рассказать?

Хорошо. Видите пучки травы на веревочках в кошаре подвязаны? А ну, кто из вас самый догадливый — зачем мы это делаем? Говорят, кур так заставляют разминаться, чтобы яиц больше несли. Может быть. Козлята тоже крепнут быстрее, когда прыгают. Да и едят лучше после этих упражнений. Значит, развиваются скорее. На кошару обратили внимание? В ней несколько отделений. Одно для «многодетных» маток — для тех, что двойни приносят. Другое — для козлят от месяца до двух. Третье — для маток суягных. Слабого козленка заверни в кочму и дай ему «дозреть» в тепле несколько дней. Кормить как? А соска на что? Молоком из соски надо понть.

Не задумывались, почему коза всегда старается летом повыше забраться, на самые гольцы? Тут надо знать ее аппетиты. Любимые блюда. А любит она дозревшие травы и злаки. Загони ее по колено в зеленую траву — будет бродить весь день, останется голодной. Ей подай

верхушки спелых, отцветших трав или мелкого кустарника, который цветет.

В зеленой влажной долине, где много травы и цветов, коза не скоро жир нагуляет. А это опасно. Надо добиваться, чтобы в зиму пошла она хорошо нажировавшейся. Вы, наверное, заметили, что с начала лета мы перегоняем отару на гольцы за Кара-Кель? И уже в августе — сентябре можем спускаться в долину. Через месяц-полтора отару не узнать. Коза становится хорошо упитанной, справной. На гольцах травы созревают раньше, быстрее выбрасывают метелки с семенами, вот и надо успевать...

Да мало ли что можно говорить о козах. Кажется, нет у них такого желанья, которого бы не разгадала Мария Васильевна.

...Задумалась она, вспоминая свой разговор с молодыми животноводами. Ветер. Холодно. А ей от этого воспоминания тепло. Всплыли в памяти слова Арсентия Васильевича: «Не скромничай, Мария. Наше дело — помочь молодым стать опытными чабанами. А молодежь любознательна. Грамотная нынче молодежь». — «Вот бы и читала книжки», — сказала тогда, усмехнувшись, Мария Васильевна. «Такой книги нет. Ты и есть та самая книга», — сказал Санаа. — Только если ты молчать будешь, они тебя не сумеют прочитать». Посмеялась.

Нет, как ни говори, а приятно знать, что твой труд оценен людьми. И совсем уже не так далека, оказывается, твоя стоянка для них.

...Интересно, как чувствуют себя те восемьдесят счастливых на Кок-Кая? Вечер, а они и не думают покидать «прилавок».

— Пусть там и ночуют, — предложила сестра.

— А вдруг зверь? — усомнилась Мария. — Нет, я их не оставлю. Сгонять, правда, не стоит... Я с ними там заночую.

Оделась потеплее и забралась на эти самые каменные полати. Козы обрадовались. Лежат спокойно. Отдыхают. Значит, сыты. Так четыре ночи забирались на «прилавок» попеременно сестры. На пятую — оставили коз одних. А беда уже подстерегала. Была совсем рядом. Если б можно было предупредить ее... В долине резко потеплело. Громче и громче стал подавать свой голос Чолушман. «Значит, весна близко», — подумала Мария Василь-

евна, прислушиваясь ночью к реву реки. Чолушман всегда первым чувствует ее приход... Его не обманут ни мороз, ни колючие метелицы.

...Сестер поднял с постели глухой рокот. Порыв тяжелого ветра через дымоход влетел в юрту, сорвал с крючка дверь. Так может падать ястребом только ветер сверху, чего никогда не случалось. Наспех одевшись, они выскочили наружу. Недалеко от юрты высилась снежная гора.

— Обвал!— ахнули чабаны и с тревогой посмотрели на «прилавок». Там было еще темно. Снегу не видно, снежная лавина сползла сбоку. Успокоились. Целы козы. Обвал поторопил с решением.

— Сегодня же надо спустить отару,— сказала Мария Васильевна и в шутку:— За что на нее разобиделась Кок-Кая?

— Травы жалко,— покачала головой Лиза.— Видно, надоели мы ей за все эти годы.

— Ничего, пусть мирится. Все равно никуда не уйдем.

— Говорят старые, что если гора начинает сердиться — быть беде. Лучше переключивай на новое место.

— Пусть стариков и пугает. А мы не из пугливых,— сказала Мария, торопливо доедая завтрак. Потом оделась, закрепила на обутках «кошки» и пошла к скале.

Но ушла она недалеко. Лиза застала ее сидящей на камне шагах в двадцати от юрты. Посмотрела на гору и все поняла: снежный обвал сдвинул курумник и обнажил скальный выступ, отрезав дорогу к козам. Лиза молча присела рядом.

— Восемьдесят голов...— прошептала она в ужасе.

— Не хорони,— оборвала ее Мария.— Давай арканы. Сколько их?

— Два... Я сейчас принесу.— Лиза с надеждой посмотрела на сестру.

Мария Васильевна связала арканы, поднялась в обход на самую вершину скалы. Там наломала кустарника, привязала его к аркану, опустила на площадку. Подергала за веревку — кустарник выпал из петли. Козы бросились к корму. Подняв веревку, снова заготовила веточный корм. Снова опустила его козам. Потом, закрепив аркан, спустилась на площадку сама. Обследовала ее. В том месте, где снег осадил вниз курумник, можно

спустить животных на аркане, если сточить острые выступы.

— Может быть, мне сходить в Балыктуюль?— предложила Лиза.

— День туда, да там, пока решишь, тоже день. Обратная дорога... За это время я сточу камни и спущу на канате всех коз,— возразила Мария.

Так и получилось. Всех коз приняла от нее Лиза за четыре дня. В правлении о героическом поступке чабанок Толтоковых узнали уже осенью.

— Скрытная ты, Мария,— пожурил председатель колхоза.— Почему не позвала на помощь?

— У всех свои заботы,— сказала Мария Васильевна.— Зачем отрывать людей от дела, когда сам можешь справиться с бедой.

Вот такая она, Герой Социалистического Труда Мария Толтокова. Вот такой у нее характер. Характер наш, советский.

Когда  
«цветуг»  
панты

«Покормушка»

Под Талицей, высокогорном поселке мараловодов, несколько речушек сходятся. Шумят, лопочут на обточенных гладких камнях. Небось рады, что на простор из темных ущелий вырвались. И то — путь немалый проделан ими. Десятки никем не меряных верст по каменным торосам пройдено от самых ледяных белков. Вот и лопочут, новостями делятся, а наговориться так и не успевают: перехватывает их Чарыш по дороге, едва они в долине показываются. Они еще кипят у берега десятко-другой метров, а потом, покоряясь силе, смиряются и расстаются со своими прежними именами. В этих местах зеленые ветры дуют. Это хорошие, добрые ветры. Особенно ранней весной. Они распечатают на кустарниках и деревьях почки, и те, словно пряча наготу свою, тотчас набрасывают на плечи голубоватую дымку. Так ткется весенний наряд.

Горы тут высокие и от подошвы до вершины покрыты деревьями. Внизу — березовые рощи. У рек — заросли

ивняка и черемухи. А повыше, на скальных выступах,— пихты и ели.

Талица — в раструбе ущелья. Вокруг высокие горы, а под ними — речушка.

— Самые места маралы у нас,— говорит известный талицкий мараловод Герой Социалистического Труда Федор Петрович Кудрявцев.— Высокие, сухие. Сейчас сплошь и рядом каменные ветви находим...

Мараловод не скажет — рога. Он скажет ветви... Когда наливаются такая ветка, она живая. Он говорит: «Пант зацвел...» «Цветет» он в весеннее благодатное время. В июне пора срезки цветка. А он действительно пышный, этот цветок — пант, покрытый сероватой бархоткой.

— Задача наша — не допустить затвердения панта,— говорит Федор Петрович.— Вот тут свое умение и надо показать мараловоду — определить точные даты снятия панта у каждого рогача. А их вот у нас около шестисот. И перворожек более полусотни... Перворожки — это молодые рогачи. Их пант имеет три-четыре ветки. Легкий пант. И план на них пониже. А возни с ними побольше, чем со взрослыми рогачами.

Федор Петрович Кудрявцев начинал свою работу в парках с пятнадцати лет. Это была небольшая ферма Кайтанакского совхоза Усть-Коксинского района.

— Заметили? Мы, мараловоды-то, все почти коксинские «университеты» прошли. Вот у Фатее Попова, из Карагая, все сыновья на маральнике трудятся. Сейчас отца сменил на Карагайской ферме старший сын Петр.— Подумавай, смеется:— Да разве его сменишь? Как кедр еще... Смолист, силен... Не уходит из парка.

О Федоре Петровице то же самое можно сказать: за пятьдесят, а силен, смолист. И есть что-то в нем от этих каменных граней.

На скалу смотришь и видишь ее скулы — литые, навечно годами сварены. Хилому да слабому духом она непреодолимым препятствием кажется. Коренастый, крутоплечий, с лицом, вытесанным из розового мрамора, мараловод чувствовал себя хозяином этих мест. И с этими крутяками он на равных. В это верилось сразу.

...На вершинах гор трепетно вспыхивали отблески зарн.

— Себя я учеником Фатей считаю, — говорит Кудрявцев. — Когда я начинал, он уже в славе ходил. Абайский совхоз гремел по выходу пантовой продукции.

После войны потребовался мараловод и в соседний район. Усть-Канский. Фронтовик-разведчик Федор Кудрявцев принял Талицкую ферму, а в 1968 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. По шесть с лишним килограммов насушил тогда пантов от каждого рогача Федор Петрович. Это много. Это, считай, на килограмм выше планового каждый пант потянул.

Тогда Фатей Петрович Попов сам съездил в Талицу поздравить своего ученика.

— Зима, помню, очень уж сподручная была... Кормов — в достатке, — вспоминает Федор Кудрявцев о том счастливом времени. — Пант хорошо налилсся...

Федор Петрович скромно умалчивает о предыдущих пяти годах. Они такими же были у него урожайными.

...Горел костер. Над урочищем плыли подкрашенные закатом облака. Истории, похожие на легенды, всю ночь всплывали над костром. А между тем были они буднями людей этой не совсем обычной профессии. Десятки лет провел в маральных вольерах Федор Кудрявцев. И каждый день не походил на предыдущий.

...Кто-то подстрелил маралуху. Дикую. Остался немысленыш-мараленок. В то время было немало разговоров о том, что марал — это вовсе не зверь. Что достаточно поработать с десяток лет с одним стадом — и маралы станут как домашние коровы. Федор в ту пору был совсем еще молодым парнем. В парке работал недавно. Поводок своих питомцев почти не знал. И верилось, что так оно, пожалуй, и должно быть. Приручают даже змею, не говоря уже о животных...

Мараленок смело подошел к человеку. Он был истощен и едва стоял на ногах. «Возьму его домой и вырашу, — решил Федор. — На нем и испытаю привязанность к человеку».

Коровье молоко мараленок пил с удовольствием. Скоро поправился и, как теленок, ходил за коровой. А та его даже облизывала, принимая за своего. Мирная картина! Весной он пошел со стадом, а вернулся один.

— Дичится... Норовит уйти от стада, обособиться, — рассказывал пастух.

— Интересно, уйдет или нет?

За зиму не покидал пригона. Ел сено, концентраты. Справным стал. К весне будто затосковал. Все на горы посматривал. Прислушивался. Часами мог стоять и смотреть в ущелье.

— Тоскует,— говорила жена.— Убежит...

— Убежит,— подтверждали мараловоды.— Зверь. На свободу тянет. Это верно. А не выпустить ли его к нашим маралам? Родня ведь. Примут.

Так и сделал. Отвел в маральник. Ожил, веселым стал мараленок. Каждое утро, где бы ни был, сбегал к воротам и встречал Федора, как старого знакомого. Подождет, ткнется мордой в руки и ждет подачи. К таким подачкам приучил его Кудрявцев. То кусочек сахару сунет ему, то хлебную корочку.

Красивым рогачом вырос марал. Цыганом назвали его. Вот подошла пора и панты снимать. В станок зашел без особых понуканий. Даже с каким-то любопытством. Привык, похоже, доверять человеку.

— Снимаю панты,— рассказывает Федор Петрович.— Чувствую, как мелко-мелко дрожит весь... Взял пант. Снял с его глаз повязку, а там не глаза — сгусток крови. Выскочил из станка, отряхнулся и вдруг, вижу, идет ко мне. «Ну что, дурашка... Больно? Так надо, брат, так надо... А ты гордись своими пантами. Килограммов пятнадцать будут». Слушает. Пофыркивает сердито, а сам ближе подходит.

Пошарил в карманах мараловод — ничего нет. А марал подошел и вдруг поднялся на задние ноги... Смекнул мараловод: драться хочет. И вовремя смекнул. Тот уже передними ногами заработал. Увернулся. В сушилку закрылся. Смотрит оттуда в окошко, а обиженный все не уходит. Крикнул помощнику, чтобы тот бичом его прогнал. А он и на помощника. Совсем озверел, лезет, молотит в воздухе ногами. Вот положение! Кое-как, вечером уже, в темноте прокрались к коням и спаслись от него.

На другой день — та же история. Те, которые неручные-то, проходят, боятся человека. Этот же, «покормушка», еще издали заметит и бежит навстречу. На бой вызывает.

— Злой стал. Вот я и думаю: не стоит их приручать. Уж очень нахальными становятся. Нет, самое лучшее, наверно, соблюдать положенную субординацию.

— А как сейчас Цыган?

— В басмачи записался... В дезертиры. Перед съемкой пантов перескакивает через ограду — и в горы... Да еще и друзей сговаривает.

— Не простил. Оскорбился.

— Крепко. Не совсем оно, оказывается, сподручно сходиться на «ты» со зверем...

#### «Девичник»

Мы в парке, который мараловоды называют ласково «девичником». Сюда отбиты матки, молодые маралухи. Парк огромен, сотни гектаров занимает. Мы поднимаемся на лошадях в гору. Сильные низкорослые лошади привычно и, кажется, без особого напряжения шагают по тропе. Федор Петрович внимательно осматривает высокую ограду. Это теперь его «прямая обязанность».

Он — егерь.

— И так изо дня в день?

— Почитай, что так, — кивает Федор Петрович. — Теперь только объехать вокруг всего маральника, двое суток надо потратить.

Мы обращаем внимание на то, что в «девичнике» совсем почему-то не видно взрослых маток.

— Прячутся, — говорит Кудрявцев. — Морока с ними егерю: так запрячет свое чадо, что с ног собьешься, пока рассекретишь ее подпольный роддом.

А найти надо. Может, помощь новорожденному требуется... Обязательно разыскать надо.

Огромная гора, покрытая густым пихтачом, упирается вершиной в облака, разрезает их и нанизывает, будто хлопья пены, на острые сучья деревьев. Вдоль горы, от самого «белка» до подошвы, глубокая морщина — впадина. Где-то на дне ее белеет и журчит ручеек. Валуны — камни высотой в двухэтажный дом — свисают над этой впадиной. А вокруг по склонам — чаша, бурелом, колодник.

— Вон смотрите: у того камня маралуха стоит на страже, — указал кверху на серый обточенный ветром осколок скалы Федор Петрович. — Следите за ее поведением, а я поеду к ней...

Маралуха спокойно пощипывала траву у камня, но, заметив приближавшегося к ней всадника, подняла голову и настороженно посмотрела на него. Вот она прошла к камню, но тут же вернулась на поляну, однако уже спокойно есть не могла.

Едва опустит голову, как тут же поднимает ее и с беспокойством смотрит на верхового, будто решает: что ему нужно? Тревожное чувство уже не покидало ее. Она снова вернулась к камню, потом стала кружить вокруг и вдруг сорвалась с места и легкой трусцой побежала навстречу всаднику. Не добежав немного, круто повернула вправо и торопливым шагом, поминутно оглядываясь, устремилась к вершине горы. Она звала за собой. Она явно не хотела видеть у того самого камня непрошеного гостя. И конечно же, опытный мараловед разгадал ее уловки. Он за ней не поехал, а круто свернул к камню. Маралуха бросилась наперерез. Федор Петрович поднял коня в галоп и опередил ее. Он быстро обследовал подозрительное место и встретил разъяренную матку бичом и устрашающим криком.

— Дуреха! — кричал он. — Что я, съем, что ли, твоего сураза? А кто бирку ему повесит? Соображаешь? Ты вот лучше от беркутов хорони его. Нашла место! На этом камне самые беркутинные слеты бывают! Иди на караул, иди!..

Они разошлись в разные стороны. Вытирая лицо платком, Федор Петрович тяжело дышал. На щеках его пылали красные пятна.

— А я давно искал ее, — говорил он. — У вершины горы искал, есть там несколько расселин, а она в этот раз схитрила: не стала в трущобу забираться... Смотри ты, осмелела. Рядом с открытым местом разрешилась... А мараленок добрый. Шустрый. Увидел меня — под камень нырнул Там вроде крыши такой образовалось.

Мы продолжали по извилистой каменной тропе подниматься вверх. Над головами, срезав верхушку горы, повисло подпаленное снизу лучами заходившего солнца розоватое облако. Где-то справа шумел водопад.

— А насчет беркутов — это верно? — кричу Федору Петровичу.

Он останавливает коня. Я подъезжаю и тоже натягиваю повод. Пусть отдохнут кони.

— А как сейчас Цыган?

— В басмачи записался... В дезертиры. Перед съемкой пантов перескакивает через ограду — и в горы... Да еще и друзей сговаривает.

— Не простил. Оскорбился.

— Крепко. Не совсем оно, оказывается, сподручно сходиться на «ты» со зверем...

#### «Девичник»

Мы в парке, который мараловоды называют ласково «девичником». Сюда отбиты матки, молодые маралухи. Парк огромен, сотни гектаров занимает. Мы поднимаемся на лошадях в гору. Сильные низкорослые лошади привычно и, кажется, без особого напряжения шагают по тропе. Федор Петрович внимательно осматривает высокую ограду. Это теперь его «прямая обязанность».

Он — егерь.

— И так изо дня в день?

— Почитай, что так, — кивает Федор Петрович. — Теперь только объехать вокруг всего маральника, двое суток надо потратить.

Мы обращаем внимание на то, что в «девичнике» совсем почему-то не видно взрослых маток.

— Прячутся, — говорит Кудрявцев. — Морока с ними егерю: так запрячет свое чадо, что с ног собьешься, пока рассекретишь ее подпольный роддом.

А найти надо. Может, помощь новорожденному требуется... Обязательно разыскать надо.

Огромная гора, покрытая густым пихтачом, упирается вершиной в облака, разрезает их и нанизывает, будто хлопья пены, на острые сучья деревьев. Вдоль горы, от самого «белка» до подошвы, глубокая морщина — впадина. Где-то на дне ее белеет и журчит ручеек. Валуны — камни высотой в двухэтажный дом — свисают над этой впадиной. А вокруг по склонам — чаша, бурелом, колодник.

— Вон смотрите: у того камня маралуха стоит на страже, — указал кверху на серый обточенный ветром осколок скалы Федор Петрович. — Следите за ее поведением, а я поеду к ней...

Маралуха спокойно пощипывала траву у камня, но, заметив приближавшегося к ней всадника, подняла голову и настороженно посмотрела на него. Вот она прошла к камню, но тут же вернулась на поляну, однако уже спокойно есть не могла.

Едва опустит голову, как тут же поднимает ее и с беспокойством смотрит на верхового, будто решает: что ему нужно? Тревожное чувство уже не покидало ее. Она снова вернулась к камню, потом стала кружить вокруг и вдруг сорвалась с места и легкой трусцой побежала навстречу всаднику. Не добежав немного, круто повернула вправо и торопливым шагом, поминутно оглядываясь, устремилась к вершине горы. Она звала за собой. Она явно не хотела видеть у того самого камня непрошеного гостя. И конечно же, опытный мараловед разгадал ее уловки. Он за ней не поехал, а круто свернул к камню. Маралуха бросилась наперерез. Федор Петрович поднял коня в галоп и опередил ее. Он быстро обследовал подозрительное место и встретил разъяренную матку бичом и устрашающим криком.

— Дуреха! — кричал он. — Что я, съем, что ли, твоего сураза? А кто бирку ему повесит? Соображаешь? Ты вот лучше от беркутов хорони его. Нашла место! На этом камне самые беркутские слеты бывают! Иди на караул, иди!..

Они разошлись в разные стороны. Вытирая лицо платком, Федор Петрович тяжело дышал. На щеках его пылали красные пятна.

— А я давно искал ее, — говорил он. — У вершины горы искал, есть там несколько расселин, а она в этот раз схитрила: не стала в трущобу забираться... Смотри ты, осмелела. Рядом с открытым местом разрешилась... А мараленок добрый. Шустрый. Увидел меня — под камень нырнул. Там вроде крыши такой образовалось.

Мы продолжали по извилистой каменной тропе подниматься вверх. Над головами, срезав верхушку горы, повисло подпаленное снизу лучами заходившего солнца розоватое облако. Где-то справа шумел водопад.

— А насчет беркутов — это верно? — кричу Федору Петровичу.

Он останавливает коня. Я подъезжаю и тоже натягиваю повод. Пусть отдохнут кони.

- А как сейчас Цыган?
- В басмачи записался... В дезертиры. Перед съемкой пантов перескакивает через ограду — и в горы... Да еще и друзей сговаривает.
- Не простил. Оскорбился.
- Крепко. Не совсем оно, оказывается, сподручно сходиться на «ты» со зверем...

#### «Девичник»

Мы в парке, который мараловоды называют ласково «девичником». Сюда отбиты матки, молодые маралухи. Парк огромен, сотни гектаров занимает. Мы поднимаемся на лошадях в гору. Сильные низкорослые лошади привычно и, кажется, без особого напряжения шагают по тропе. Федор Петрович внимательно осматривает высокую ограду. Это теперь его «прямая обязанность».

Он — егерь.

— И так изо дня в день?

— Почитай, что так, — кивает Федор Петрович. — Теперь только объехать вокруг всего маральника, двое суток надо потратить.

Мы обращаем внимание на то, что в «девичнике» совсем почему-то не видно взрослых маток.

— Прячутся, — говорит Кудрявцев. — Морока с ними егерю: так запрячет свое чадо, что с ног собьешься, пока рассекретишь ее подпольный роддом.

А найти надо. Может, помощь новорожденному требуется... Обязательно разыскать надо.

Огромная гора, покрытая густым пихтачом, упирается вершиной в облака, разрезает их и нанизывает, будто хлопья пены, на острые сучья деревьев. Вдоль горы, от самого «белка» до подошвы, глубокая морщина — впадина. Где-то на дне ее белеет и журчит ручеек. Валун — камень высотой в двухэтажный дом — свисает над этой впадиной. А вокруг по склонам — чаша, бурелом, колодник.

— Вон смотрите: у того камня маралуха стоит на страже, — указал кверху на серый обточенный ветром осколок скалы Федор Петрович. — Следите за ее поведением, а я поеду к ней...

Маралуха спокойно пощипывала траву у камня, но, заметив приближавшегося к ней всадника, подняла голову и настороженно посмотрела на него. Вот она прошла к камню, но тут же вернулась на поляну, однако уже спокойно есть не могла.

Едва опустит голову, как тут же поднимает ее и с беспокойством смотрит на верхового, будто решает: что ему нужно? Тревожное чувство уже не покидало ее. Она снова вернулась к камню, потом стала кружить вокруг и вдруг сорвалась с места и легкой трусцой побежала навстречу всаднику. Не добежав немного, круто повернула вправо и торопливым шагом, поминутно оглядываясь, устремилась к вершине горы. Она звала за собой. Она явно не хотела видеть у того самого камня непрошеного гостя. И конечно же, опытный мараловед разгадал ее уловки. Он за ней не поехал, а круто свернул к камню. Маралуха бросилась наперерез. Федор Петрович поднял коня в галоп и опередил ее. Он быстро обследовал подозрительное место и встретил разъяренную матку бичом и устрашающим криком.

— Дуреха! — кричал он. — Что я, съем, что ли, твоего сураза? А кто бирку ему повесит? Соображаешь? Ты вот лучше от беркутов хорони его. Нашла место! На этом камне самые беркутские слеты бывают! Иди на караул, иди!..

Они разошлись в разные стороны. Вытирая лицо платком, Федор Петрович тяжело дышал. На щеках его пылали красные пятна.

— А я давно искал ее, — говорил он. — У вершины горы искал, есть там несколько расселин, а она в этот раз схитрила: не стала в трущобу забираться... Смотри ты, осмелела. Рядом с открытым местом разрешилась... А мараленок добрый. Шустрый. Увидел меня — под камень нырнул. Там вроде крыши такой образовалось.

Мы продолжали по извилистой каменной тропе подниматься вверх. Над головами, срезав верхушку горы, повисло подпаленное снизу лучами заходившего солнца розоватое облако. Где-то справа шумел водопад.

— А насчет беркутов — это верно? — кричу Федору Петровичу.

Он останавливает коня. Я подъезжаю и тоже натягиваю повод. Пусть отдохнут кони.

— Это их лакомый кусок,— говорит он. Мы слезаем с седел. Разминаем ноги.— Только теперь-то уж не взять мараленка — подрост. Окреп на ногах. Входит в силу. Маралуха — животное с понятием. Отелится — тут же, чтобы не привлечь зверя, замаскирует все следы и ведет свое чадо на новое место. И сама все время настороже. Ну, от беркутов отбиться может, со зверем посложнее. Рысь в этих местах свирепствует... Медведи заходят. В прошлом году трех маралух задрали. Пришлось двое суток на карауле стоять. Выследил, убил. Нынче не слышно пока.

Из-под увала на прилавок (так здесь называют ровное место на склоне горы) вышел табунок пантачей. Увидев нас, остановились.

— Дожди теплые пошли. Хорошо трава поднимается.— замечает Федор Петрович.— На прилавках уже надеются. В лесу-то с пантами несподручно. За «цветы» свои боятся. Болькне они сейчас у них, боятся резко головой тряхнуть.

Он легко вскочил в седло, и мы тронулись дальше. Рогачи долго еще провожали нас настороженными взглядами.

— Не доверяют вам, Федор Петрович, — показываю в их сторону.

— Зато издалека узнают. И побанваются тоже. Вон как смотрят. Небось думают: вот сейчас безжалостный дядька заедет повыше и начнет шуровать оттуда своим бичом, сгоняя всех к «разлучнику»...

На Карагайской ферме Абайского маралосовхоза нам удалось побывать на срезке пантов. Горячая это пора для мараловода. С утра до вечера, меняя лошадей, он в седле. И не просто в седле... Как образно выразился тогда Фатей Петрович Попов — летать по воздуху приходится с утра до вечера... Его ведь догнать надо, пантача-то, и завернуть суметь к «разлучнику». Но кабы он один был, а то, считай, сотни их, ты же только с двумя егерями... На гору вскачь — под гору вскачь. Не одну стремляную подпругу сменишь за день. К седлу, почитай, не привалишься — ноги навывтяжку, упнешься в стремя и гоняешь... Кричишь, свистишь, бичом стреляешь. К вечеру осипнешь и только машешь руками, сил нет слово сказать. Перехватит горло-то, сипишь, как сыч, вот руками и размахиваешь.

## Марал принимает «целебную ванну»

Ограда ломаной линией огибает одну гору, вторую, перехватывает широкую луговину в глубоком распадке и скрывается из глаз где-то в лесной чащобе. Она необычна, эта изгородь, похожа на крепостную стену. И не городится она, как обычная, жердевая, а рубится, как дом, в лапу. Оттого и получается ломаной линией, в ее звеньях — полуквадраты. Высота достигает двух с половиной метров. В низинах — до трех. «Поровой» рогач (то есть в «самой поре», самый сильный) легко берет и трехметровый барьер, но происходит это редко.

— Через ограду его погонит разве только отчаяние. Например, зверь прижмет, — говорит Федор Петрович. — Тут и трехметровая высота не задержит его. — Подумав о чем-то, смеется: — А вообще-то нет особой нужды для риска — тут его подкармливают зимой, даже концентраты достаются. А где он их возьмет на воле? И все же... И все же были редкие случаи, были... Так мы особенно и не волновались: придут, побегают и придут.

...В довольно широкой впадине течет ручей. Местами берега его выбиты, а дно углублено.

— Ванны... Рогач — зверь предприимчивый, — кивает на эти ямы Федор Петрович. — Сам выбивает их... Осенью, перед гоном, принимает он грязевые ванны.

Мы об этих «целебных ваннах» слышали и от Фатя Петровича Попова в его Курдюмском маральнике. Поселок Курдюм упирается постройками в изгородь парка. Всю ночь в лесу трубили маралы. Слышался треск сучьев и гулкий топот копыт по каменным тропам. До рассвета беспокойное движение на горных склонах, покрытых лесом. Горнили рогачи. В их трубном звуке прорывались властные нотки. Возможно, это был вызов сопернику. Поединки их бывают страшными. Сломя голову бежит марал навстречу сопернику. Сбиваясь, поднимаются на задние ноги, а передними, как цепями, бьют друг друга.

— Под ударом такого «цепя», — говорит Федор Петрович, — в щепки разлетится жердь. А поединки рыцарские не только за подружку бывают. У этих «целебных ванн» тоже устраняются ринги. Перед гоном марал старается избавиться от лишнего жира. Он погружается в такую ванну и бьется в ней, истязая безжалостно себя.

— Выскочит, — продолжает беседу Федор Петрович, — в гору, пока на колени не упадет от усталости. Бежит, будто его кипятком ошпарили. Язык набок. Из рта клочья пены падают, а он все бежит... Потом снова в ванну. Не терпит жира. На байрам свой выходит поджарый, буйный и бражный, как молодое вино.

Почти четыре десятка лет работает со своими необыкновенными питомцами Федор Петрович.

— Профессор своего дела, — говорят о нем с уважением в дирекции и парткоме совхоза.

— Ну, какой-там профессор, — устало машет рукой знатный мараловод. — Я и сам не пойму: животновод я или зверовод? Вроде бы зооветминимум по животноводству сдавал, а ведь ни я, ни сам главный зоотехник совхоза не скажет определенно, какой все же корм и режим больше на пользу идет при формировании «цветка»? Вот есть такая трава, маралий корень прозывается, а поученому левзеей зовут. Человеку этот корешок полезный. Настои делают. Принимают его от разных там заболеваний. А когда к нему марал обращается? Доподлинно неизвестно. Байки всякие рассказывают охотники, будто раненый ел его рогач. Нашел специально, добыл копытом и ел, ел... Может, правда, а может, и вранье. Допустим, рану залечивал. Значит, при травмах. Ну, а когда еще, в каких случаях?

— А ищет?

— Ищет. Есть она, эта левзея, в парке. Смотришь, разрыто. Добывал корень. Листья валяются кругом. Корня нет. Когда он еще нужен ему?

— Взять бы да и развести у себя небольшую плантацию, — подаем мысль.

— Согласен. Но в огороде не растет левзея. А на гольцах надо присмотреть. Тут и закавыка...

— Есть же у вас, у мараловодов, какой-то свой экспериментальный цех... Ему бы и заняться.

— Насчет цеха — не знаю. Только есть где-то в Шибалинском оленесовхозе научная лаборатория. Ученые из Новосибирска наезжают. Вроде шефствуют.

— Ну и как?

— А никак. Десятки лет цифры подбивают, только нам пользы от этого нет. Каждый своим опытом пробавляется. Небось у Фатяя Попова — академия того опыта.

Ему надолго хватит... Хорошо вот — девять сыновей у него. Есть кому наблюдения и практику свою передать... А так никто всерьез тем опытом в нашей области не занимается. Не обобщает. Лаборатория больше медицинскими проблемами, говорят, занимается. Пантокрин и прочее. Тоже, конечно, дело. Научного же цеха такого по мараловодству нет в области. А он нужен. Возникает много вопросов, которые разрешения требуют. Вот хотя бы вопрос с воспроизводством стада. Ведь планируем низкий выход — всего пятьдесят телят от сотни маралух.

— Ну а выше бывало? — интересуемся.

— Есть примеры. И у меня есть. Помню, когда еще в Кайтанаке работал смолоду. Ферму новую организовали. Выделили двадцать маралух и одного рогача на всех. Два года стопроцентный отел был.

— А потом?

— Потом, когда маралух стало уже за тридцать, телилось все равно не больше двадцати.

— Значит...

— А то и значит, что это, похоже, норма для рогача. А другой, завидущие глаза, с полсотни отобьет маралух и не подпускает соперников. А приплод так и есть — не больше двадцати, а то и пятнадцати. Вот ведь вопрос! Проверять надо. Изучать. А мы пока больше о кормах болсем. Да вот об этой городьбе — не свалилась бы мстами. А может, без нее лучше было бы, а? Больше тыщи стоит она...

Федор Петрович напряженно всматривается в горы. Будто от них ждет ответа на волнующие вопросы мараловод. А кто он действительно: может, и не мараловод, а зверовод?

Над Талицей быстро сгущались сумерки. Небольшая деревенька мараловодов погружалась в темноту. Из ущелий задувал мягкий, будто кошачья лапа, ветер. Чем мягче ветер, тем громче ручьи и птичий гай в прибрежных кустах. Еще виснет синим парусом будто вырубленный в немыслимой выси кусок неба, а в деревне уже вспыхивают яркие огни электролампочек. На отлогом склоне горы Кыма мелькают быстрые тени. Они пугливы, эти тени. Гордо вскинув головы, чутко всматриваются в гирлянды огней пантоноscopy. Блеснула где-то на вер-

шине Кымы последняя зарница, и нам показалось, будто высклись на горе золотые искры.

А может, это панты «цветут»?

### На тропе мужественных

Много к Акташу троп сходится. Это тропы мужественных и сильных. Акташ... Хранилище тайн и легенд. Суровы, неприступны с виду горы. Хмурый пихтач на скалистых склонах. Необжитое, дикое место. Таким я и увидел впервые высокогорный рудник в 1946 году. Стояла зима, а в Мёнской долине, у самой Акташ-горы — россыпи камней и гальки. Снега совсем не видно. Сюда выходит несколько ущелий. Из каждого тянет сквозняком. В долине воздушные потоки сходятся и, противоборствуя, образуют мощный заряд ветра, не утихающего ни днем, ни ночью. Вот и в тот раз в Мёнской долине, пустой, необжитой, гуляла сухая, колючая поземка. В кузове открытой полуторки сидело человек шесть моих случайных попутчиков. А может, я был случайным среди них, потому что на протяжении всего долгого и трудного пути они держались особняком, настороженно и с откровенным страхом поглядывали на горы. В Чибите шофер посадил еще одного пассажира, совсем мальчишку. По лицу — алтаец или казах. Он был в залатанном кожаном, на голове огромным грибом возвышалась старая, изрядно поношенная шапка-малахай. У мальчишки смелые открытые глаза. И мне запомнилось, как он, перевалившись через борт и споткнувшись о поклажу моих спутников, усмехнулся, прошел к кабине и, стукнув по ней ладонью, сказал:

— Поехали! Ничего, поди, не замерзну пять-то верст!

Похоже, шофер знакомым был человеком. И еще я заметил: держался мальчишка независимо и даже больше — как-то покровительственно по отношению к нам. Мы разговорились.

— А я тут на руднике работаю, — небрежно обронил он.

— В шахте? — недоверчиво покосились на него мужики.

— Пока на поверхности,— хмурясь, ответил тот и, рубанув вдруг в воздухе рукой, уверенно добавил:— А шахтером все равно буду...

— Ты кто?— поинтересовался я.— Здешних мест?

— Почти что... Оттуда вон,— мальчишка кивнул куда-то в сторону открывающегося впереди ущелья.

— Из Кош-Агача?

— Ага... У бабки там жил. Теперь на Акташ перебрался. Дядя тут у меня. Хочу горняком стать... Они вон как трясут эту шайтанову гору.

Впереди за узким ущельем, высоко взметнув острую вершину, покрытую тучами, синела огромная гора.

— Это она и есть... Акташ-гора... Бабка говорит: «В ее нутре шайтан поселился. От его дыхания все гибнет кругом».— Мальчик засмеялся.— А это вовсе и не шайтан, а такой металл, ртутью прозывается...

— А что ты делаешь?

Он смущенно шмыгнул носом:

— Пока... водовозом работаю. Воду на Средний стан вожу. Пока... Понимаете?

— А в шахте был?— спросили мужики.

Подросток снисходительно хмыкнул:

— Жить тут и в шахте не побыть... Что же это?

— Как тебя зовут?— интересуюсь, вытаскивая блокнот.

— А ты куда записываешь?— подозрительно сощурился он.

— Да просто... На память...

— У директора будешь?

— Буду.

— Скажи ему: приду проситься в шахту. Я от своего не отступлю...

Полуторка быстро проскочила долину и круто свернула влево. У речушки застряли в каких-то кучугурах. Вокруг — вывороченные с корнями деревья, огромные валуны. Темнело. Впереди мелькнул огонек. Мужики остались у машины, а мы пошли по просеке. Вскоре перед нами открылся небольшой поселок. Несколько избушек и целый рядок низких дощатых бараков. Слева у речушки стоял единственный двухэтажный дом. Свет струился из всех окон. И было видно, как в каждой комнате над столами, голова к голове, сидели и что-то делали люди.

— Там,— указал на этот дом будущий шахтер.— Все там начальство. А я тут живу.— И он ткнул рукой в направлении ближайшего барака, из подслеповатых окон которого едва пробивался наружу желтоватый лучик света.

Мы расстались. Я и после, работая собкором краевой газеты, не раз был в Акташе. Где-то долго хранился блокнот с первыми записями, да затерялся. И вот прошло почти четверть века, и я снова в Акташе. Надо было написать для Горно-Алтайского радиокомитета очерк о лучшем бригадире проходчиков Лече Кусановиче Муктасырове, удостоенном высшей правительственной награды — ордена Ленина.

...Сидим в благоустроенной квартире, и я с «пристрастием» интервьюирую знатного шахтера. Меня насторожили его слова о Кош-Агаче, о бабушке, о легенде с шайтаном... Это его рассказ о далеком детстве, о мечте стать горняком. Я вспоминаю встречу в машине зимой далеко-го теперь 1946 года. Муктасыров подумал, потом долго смотрел на меня и, улыбаясь, пожал неопределенно плечами.

— Не помню. В Чибит я часто нырял... Картошку там промышляли. Жиров у нас было много. Прямо пуды масла лежали у каждого, конфет, пряников полно. По картошке скучали. Не хватало ее.— И оживившись:— Так, говорите, на водовозке работал?— И смеется:— Ну, так это я и был. Мешка со мной не было? Значит, без добычи ехал...

...Заслуженный шахтер. От водовоза до мастера проходки — его двадцатипятилетний путь. Небольшая авария не пустила больше в шахту. Повреждена рука. И на поверхности нашлась работа, в охране. Семей обзавелся. Сыновей растит.

— Эти уже от настоящего горняцкого племени корешки,— со светлинкой горделивой в глазах говорит он.

...Рос рудник. Набирал мощность. Оснащался современной техникой. Незаметно и люди поднимались. Мужали на суровых акташских ветрах.

История Акташа — это история горняцкого подвига. А легенды — это для украшения. Мы слышали в Чуйской степи новый сказ о том, как молодой казах победил в Акташ-горе злого духа Эрлика. Это будто он напускал зловредные пары на все живое вокруг, пробиваясь нару-

жу... А когда почувствовал, что не уйти от грозного батыра, пробравшегося в кладовые горы, метался, плакал ядовитыми слезами и исчез. А те слезы превратились в самый тяжелый металл — ртуть...

Кто этот батыр? Бывший пастушонок Муктасыров? А может быть, степняк из-под Новосибирска, ныне почетный горняк, прославленный бригадир проходчиков Василий Савенко, ученик Муктасырова?

...Осень к Акташ-горе прорывается чуть ли не с весны. Во всяком случае, у нее постоянная зона тут есть, вроде пристани, которую оберегает. Место это почти у самой кромки никогда не таявшего снежного наста на вершине горы. С ледяных сосуллек, свисавших с того самого наста, сочится светлая снеговая вода. Вокруг желтая сухая травка и камень. Правда, акташцы и тут преуспели: они подцепили к вертолету огромный железный шпиль и поставили его на малюсенькой ровной площадке. Тот шпиль называли ретранслятором. Он разыскал для них в эфире голубые лучи и подарил телеизображение. Теперь голубые огни чуть ли не из каждой квартиры светятся.

В августе осень уже расширяет свою территорию, до Среднего стана спускается. В сентябре хозяйничает по всем окрестным урочищам, засылая то холодный дождь, то снежную крупу.

В один из таких неласковых осенних дней и принял задание на освоение новой штольни Василий Савенко.

— Идти будет трудно, предупреждаю, — сказал инженер. — Очень крут горизонт, под углом тридцать два градуса идти придется...

Савенко только что вернулся из отпуска. Из своей бригады он нашел одного Юрия Устюмбекова.

— Новую бригаду будем формировать, Василий...

— Ты что — смеешься? — не поверил Савенко. — Такой горизонт и... новые люди? Да где их взять?

Вечером обсудили этот вопрос при главных специалистах.

— Ничего не попишешь, Василий Михайлович, — сказал главный инженер рудника Корнев. — Надеемся на твой опыт... будешь учить молодежь... У тебя есть хороший помощник, Устюмбеков. Принимай ребят и, как говорят, ни пуха тебе...

Вот и молодые проходчики. Парни вроде бы неплохие. А как в деле? Да еще ведь и штольня что скажет. При таком уклоне да вдруг вода? На два фронта придется работать...

— Ну вот что, парни: делай, как мы.— Он кивнул на Устюмбекова.— Будем «двор» расчищать... Включай насос.

На выемке понял еще вчера, когда был здесь с инженером, что место это уже успел кто-то поковырять — в небольшой выемке было целое озерко воды. «Сточная. Дожди», — подумал тогда мимоходом...

Насос гремел вовсю, а вода почти не убывала... С досадой морщась, стали ждать. «Перекур» затянулся часа на два. Наконец показалось дно. Вскоре оно очистилось, и Савенко взял в руки перфоратор. Резкая пулеметная дробь расколола воздух и пошла, пошла дробить его по всему ущелью. Устюмбеков примостился рядом, Савенко делал шпур и объяснял:

— Чтобы отколоть породу, сначала забуриваем врубовые. Я больше привык клиновые делать... есть звездочка, котловые врубы... После вруба делаем оконтуривающие шпуры. Сколько этих шпуров — смотри по породе..

Так, работая на забое, учили опытные проходчики молодых горняков. Метров пять прошли благополучно, потом началось...

— Хлынула вода, — рассказывает Савенко.— Один за другим выходят из строя от большой перегрузки насосы. Малоэффективными оказались наши «лягушки», да и слабоваты.

Жена Василия Михайловича Валентина вставляет свое слово:

— Другой раз ждешь, ждешь — нету. «Неужели на вторую смену остался? Мокрый ведь до нитки, продрогший...»

— Приходилось так не раз, — кивает Савенко.— То энергию вдруг вырубят, то воздуха не хватит... А то провоюешь с водой — догоняешь после эти часы.

— Придет домой сердитый, неразговорчивый... Холода пошли... Роба звенит на нем, как броня...

И другое случалось. Приняли в бригаду проходчика Перлова. Опытный горняк. А у него радикулит. Постоял в воде смену, на вторую — в больницу увезли. Не раз по две смены не покидал забоя и коммунист Устюмбеков.

— Трудная складывалась обстановка,— говорит Устюмбеков.— В такой штольне еще не приходилось работать. Держались уже на упрямстве. Надо — сделаем!

Похудели парни. Заострились скулы. А в глазах упрямство: «Выдюжим!»

Слух о небывало трудной штольне, о стоическом поведении проходчиков, их мужестве быстро обошел рудник. Ребят знали в лицо. Цифры 5, 24 и 32 — стали на руднике символом рабочей отваги.

«Пятый уклон, 24 штольня. Угол наклона 32 градуса». В январе ударили морозы. На поверхности под сорок градусов, а в забое на двадцать четвертой штольне вода, но проходчики Савенко упрямо вгрызаются в глубь горизонта.

Воспоминания бригадира похожи на отрывки из дневника.

«В конце января вышел из строя четвертый насос. Начальник шахты Носов снабдил бригаду грязевым насосом. Этот сильнее. Заглатывает больше воды. Повеселее стало на забое».

«К началу марта прошли половину. Порода сходная — известняк. Песчаник тоже есть, но реже».

«Ребят от себя ни на шаг. А они внимательны. Стараятся изо всех сил. Хорошая жилка в руках парней: рабочая. Будут проходчиками».

«Где-то в марте, в конце, кажется, Николай Галкин почти полторы нормы выдал на-гора... Разик Чоков не уступает ему. Расчетливо и смекалисто отбуривает Анатолий Гусев. У этого что-то свое есть. Какая-то особая легкость в работе. Даже лихость. Красиво работает».

А в поселке при встрече спрашивают проходчики из других штолен:

— Ну-ка, где ваш главный Нептун? Не утопит вас окончательно?— Это в адрес бригадира Савенко.

— А у нас понтоны,— отшучивались парни.— Мы непромокаемые.

Добрая слава — хороший помощник. И молодые забойщики росли, мужали, крепло их мастерство. А за бригадой ревниво следили все. Выдюжат парни или побьет все же их эта неудобная штольня? А «непуновцы» вгрызались и вгрызались в породу. Шел вниз неподатливый забой. Иной раз в смену по несколько сантиметров

проходили. Но чем ближе контрольная отметка, тем, казалось, упрямее становились парни.

Как-то собрались все шестеро у бригадира.

— Господи!— вспоминает Валентина Тимофеевна.— Пообросли все. Черные. Худые, а он им задачу ставит: «Ну, парни, скоро... Апрель распочали, неплохо. Кончить надо контрольной отметкой... Как хотите. Стыдно будет Первой встретить иначе...» — «И всем враз отметить эту самую отметку!»— порешили парни. И отметили... Прямо из забоя, как были в робах, и завалились к нам... А потом...

— Потом в праздники отсыпались больше,— подхватывает Василий Михайлович.

...Вырос Акташ. Новой современной техникой оснастился. А от трудностей в горняцком деле не уйти.

Много троп сходится у Акташ-горы. Но это тропы мужественных и сильных.

---

Рассказы



## Под Чаптыганом

Зимовье Кымыя Артушева упиралось изгородью в крутой жирный бок горы Чаптыган. Велик Чаптыган! В самое небо уходит его мерлушковая папаха. С осеннего листопада до тех пор, пока не опалят его грудь и могучие плечи весенние цветы, он заслоняет своей вершиной солнце и держит в тени до полудня все нижние урочища.

На свидание с солнцем, хоть и не очень ласковым в зимние дни, Кымый выходил утрами.

Он поднимался к вершине горы, петляя на лыжах, точно заяц. Потом долго смотрел сверху вниз на голубоватые в утреннем тумане долины.

«Только Чаптыган мог покарать отсюда своего соперника, прятавшегося где-то в дымке Катуня. Он закидал Бабырган камнями и навсегда лишил его зелени,— думал Кымый.— В наше время горы не враждуют друг с другом. А все равно небось любая горюшка в этих краях позавидует силе и могуществу Чаптыгана. Вот если бы и торбоки мои росли богатырями на траве чаптыганской!»— улыбался про себя Кымый и скатывался вниз. Любил пофантазировать Кымый.

Наступили новогодние дни. Зеленый подлесок примеривал новые шубки. Вчера пролетела очередная стая снежинок. Легонькая, как тополиный пушок, и елки наперебой ловили их своими зелеными иглами и тут же вышивали свои узоры.

Кымый исподволь наблюдал за ними и довольный улыбался. «Под Новый год разожгу на вершине горы большой костер — и все вокруг запылает белым огнем... Интересно, увидят ли мой костер в деревне?»

...Вечером приехал на зимовье Чойчи. Старый скотник сгрузил в амбарушке мешки с концентратами и подал Кымыю записку.

Писала зоотехник Майя. По почерку узнал.

— В магазине встретил,— сказал старик.— Отбирала с девчонками елочные украшения. Хотят богатую елку устроить в клубе.— Не торопясь вытряхнул мешки, поколотил об угол амбарушки, полюбопытствовал:— Наверно, про то и пишет?

Кымый растерянно посмотрел на своего напарника, торопливо кивнул. А Майя писала совсем о другом. Она сообщала об итогах соревнования скотников и чабанов. «Лучшие номера из нашего новогоднего концерта мы посвящаем тебе, Кымый, Улагашеву и Караеву. Думаем, удастся побывать на всех трех зимовьях, так что готовься к встрече гостей! Это будет в новом году. Майя». А в уголке приписала: «Говорят, о счастье надо ворожить под Новый год... А надо ли, если оно рядом? Но в новогодние вечера принимаются важные решения...»

Эта приписка и озадачила Кымыя. Конечно, это шутка. Как понять тогда ее смысл? О чем думала Майя, когда писала эти загадочные слова?

...За ужином Чойчи все поглядывал на молчаливого Кымыя, теряясь в догадках, чем могла огорчить записка обычно веселого парня.

«Наступающий праздник портит настроение,— подумал он.— Конечно, кому из молодых не хочется побыть в такой день вместе с товарищами... Но разве я такая уж развалина, что не смогу с торбоками один управиться? Кымый старательный парень. Пусть отдохнет».

Чойчи не торопясь, даже как-то торжественно отставил в сторону чашку с чаем и уже приготовился порадовать Кымыя только что принятым решением, как неожиданно вступил в разговор сам Кымый.

Он лежал на шубах и, поглядывая на раскаленную докрасна железную печурку, сказал:

— Нам бы, дядюшка Чойчи, приготовить на праздник хороший обед...

— Хороший обед?— удивился старик.— Разве у нас с тобой плохое?

Кымый улыбнулся.

— Нет. Обеды сытные. А вот такой, чтобы праздничный, что ли.

— С вином?

— А что?—оживился Қымый.— И вино можно бы, а? Шампанское.

— Гостей ждешь?

— Да,— кивнул Қымый.— И приедут они на Новый год.

Чойчи подумал. Не торопясь раскурил трубку.

— С вином гости ходят,— сказал он.— Такой старый обычай...

— Это особые гости,— улыбнулся Қымый.— Им не положено возить с собою вино.

Чойчи вскинул на парня лохматые седые брови.

— Наши артисты,— сказал, опустив глаза, Қымый.— Они пять будут, играть...

— А Чаптыган не обидится?

— Зачем же ему обижаться?

— Всяко может,— посуровел старик.— Бывало раньше так, что завалит снегом — и ноги не вытянешь... И торбоков не найдешь...

— Ну уж,— недоверчиво усмехнулся Қымый.

— А ты лучше сходи да погуляй в деревне. Я один тут управлюсь. Не бойся. Завтра трактористы еще подвезут целый стог сена. Говорили в конторе...

— Спасибо, дядюшка Чойчи. Можно и так,— согласился Қымый и сразу повеселел.— А потом я вас отправлю в деревню, и отдыхайте хоть неделю!

Чойчи подумал: «Хороший, добрый парень Қымый. Сейчас, наверно, побежит на гору и споет что-нибудь. Новый год... Это тоже гора. Перевал. Его пройти надо. И пройти умеючи. Қымый может. Чистые родники питают его сердце».

Қымый действительно стал обходить свои владения, а они у него богатые: елки в зимнем серебре, припудренные легким снежком стожки, а на взгорье — звенящие кисти рябины.

Богат. Ох, как богат Қымый! Ему весело. Он поет песню. А в ней совсем нет слов, потому что поет ее Қымыево сердце. И долины поют. И ели. И горы...

Вот что может наделать с парнем совсем маленькая записка, и не записка даже, а всего несколько загадочных слов. Славная девушка Майя. Боевая, смелая...

Только зачем загадки загадываешь? А бригадир Тулунов? Красивый парень Эрке Тулунов... И как секретарь комсомольский неплохой... Как же с Эрке, Майя? Разве ты ничего не обещала ему? А может быть, это только разговоры?

«В новогодние вечера принимаются важные решения...» Я, конечно, приеду на тот вечер, Майя. Обязательно приеду... Может, ты скажешь, Майя, что все это значит?.. А ты не знаешь, Чаптыган? Тебе ничего отсюда, с высоты, не видно?

Ах, как медленно идут предновогодние дни!

Прямо у дверей лесной избушки вырос молодой кедр. Кымый каждый вечер, едва Чаптыган прятал за пазуху солнце, отряхивал от снега одну из его веток.

Вот их осталось, заснеженных, всего четыре. Потом три. Потом две. И тут случилось непредвиденное. Сорвался с обледеневшего камня на речушке дядюшка Чойчи. Промок и заболел. Кымый запряг коня и съездил за фельдшером. Увез фельдшер дядюшку Чойчи, и Кымый остался на зимовье один. Ругал себя старик, уезжая, что не поостерегся, что подвел Кымыя.

— Пропала теперь твоя елка, Кымый,— вздыхал он с сожалением.

— Лечитесь, лечитесь, дядюшка Чойчи... Елок у меня вон сколько. По всей горе! И ели, и сосны, и кедр-рач...

Конечно, очень хотелось побыть Кымыю в сельском клубе... Сегодня он отряхнул последнюю кедровую ветку и стал таскать хворост для большого костра. Потом наварил мяса. А в полночь развел костер. Чаптыган выпустил из рукава большую луну и повесил на сучке старого кедра серебряный ковш.

Чадит лохматый костер, запуская в темное небо игольчатые искры. Где-то за Чаптыганом прокладывал свою первую лыжню Новый год...

И вдруг на склоне горы, у подножия которой пряталось в низине родное село Кымыя, вспыхнуло сразу несколько красных точек.

«Передают привет зимовщикам,— подумал Кымый.— Может, и Майя там с ребятами...» Он пошуровал в костре, и тотчас рванулись ввысь тысячи искр. Ребята, конечно, видят, как сигналит Чаптыган. Он первым встретил Новый год. Ему же виднее.

...Гости приехали днем. Кымый только успел пригнать с речушки торбоков и задать им сена, как из-за поворота вынырнула нарядная упряжка, за ней вторая... Сбруя коней была украшена лентами. Под дугами — звонкие колокольчики. Кымый вышел на дорогу. Не доезжая зимовья, с первой подводы соскочила Майя, еще несколько девушек. Эрке солидно перебрал вожжи. Не торопясь вылез из саней и произнес хорошую речь. Он поздравил Кымыя с Новым годом и прикрепил на избушку красный вымпел.

— Это знак почета, Кымый, — сказал он. — Будь достоин его... Наша комсомольская организация гордится твоей работой...

Горячо и красиво мог сказать Эрке.

После чая Эрке торжественно усадил Кымыя в передний угол, а сцену устроил у порога, потому что там площадка была побольше. Потом Эрке прочитал стихи, посвященные Новому году, и попросил Майю сыграть на баяне, а Веру Сарычеву спеть. Все шло по программе, пока Кымый не перепутал ее. Ему надоело представлять условную публику, он вызвался сам принять участие в концерте. Уж очень хорошее настроение у него было. Он имитировал корриду. Бой с быками. Это было так неожиданно, что Майя, хлопая в ладоши, подскочила к нему и выдохнула в самое лицо:

— Спасибо, Кымый... Ты такой и есть, каким я тебя представляла...

Щеки парня опалило жаром, он чуть не задохнулся, а Майя вдруг объявила:

— Кымый поедет с нами по другим стоянкам... У него такие отличные номера!

Эрке растерянно пожал плечами:

— А торбоки? У него же нет помощника!

— С торбоками останешься ты, Эрке, — твердо сказала Майя. — Ты секретарь нашей организации. Подумай, как это будет благородно... Ведь правда? Сам вожак молодежи подменяет в праздник лучшего молодого животновода и дает ему возможность выступить в самостоятельности!

О, Майя могла воздействовать на сердца людей. Все бурно приветствовали ее идею. Эрке опустил голову и нерешительно проговорил:

— Но сам Кымый может не доверять своих торбоков! Это ж к обезличке ведет!— он с затаенным вниманием и надеждой посмотрел на Кымыя. Ах, как не хотелось Эрке отпустить с Майей Кымыя...

— Ну, ну?— дергали Кымыя со всех сторон девчонки.

— Я, правда, не очень-то и хочу выступить... Какой из меня артист,— сказал Кымый. Лицо его было растерянным.— Но тебе, Эрке, я вполне доверяю.— Он подумал немного и твердо повторил:— Да. Доверяю. Сегодня поить торбоков не надо уже. Часа через два задашь им сена и немного концентрата... Не могу я, понимаешь, не доверять тебе, Эрке!— Кымый шагнул к растерявшемуся парню и протянул ему руку.

Тот, блеснув сердито глазами, коротко потряхнул ее. Эрке был гордым парнем.

...Всю дорогу до урочища Сары-Кобы Майя внимательно следила за Кымыем. А у того перехватило дыхание от ее влажно поблескивающих огромных глаз.

Ехали по сказочно заснеженному лесу, и лунные дорожки струились, звеня под копытами коней.

После выступления на соседней чабанской стоянке они вытащили из саней лыжи и, не сговариваясь, пошли в гору. Чаптыган снял серебряный ковш с ветки старого кедра и запустил его в сторону Бабыргана. А он не долетел до него и зацепился где-то на Тугае за шпиль ретранслятора. Светало...

Новый год уже свободно командовал рассветом, а людям открыл новые дороги и новые песни. Ни Майя, ни Кымый еще не знали слов своей песни. Никто не должен видеть со стороны великого таинства их рождения...

## Почтарь

Сколько лет нашей деревне? Никто толком не знал, а вот дед Кучук хорошо помнил. Мы его по совету нашей молодой учительницы пригласили как-то в школу, и он, нацепив трудовую медаль поверх шубенки, пришел и растолковал нам так:

— Как не помнить тот год? Зима была, шайтан ее возьми, такая прожорливая, что не подавилась коровой бабки Тойлош, которая кочевала по урочищу Сарычмень. Набросилась на овечек Куйруковых и в одну ночь порешила всех ягнятишек, а у старика Каланака свалила по-

следнего коня... Как не помнить тот год! Тогда бая Кыпчака в Нарым еще сослали. Как не помнить!— Дед сидел около классной доски в шапке и шубе и задумчиво смотрел в окно подслеповатыми слезящимися глазами.

Мы тоже повернули туда головы. Только нам представилась та страшная зима почему-то в образе доброго деда-мороза. Он из того самого урочища приносил нам в школу подарки. Наверно, все-таки дед Кучук видел дальше, хоть и слезились его глаза. Он говорил медленно, будто вытягивал слова из того далекого прошлого, которое он видел даже из окна.

— Потом приехал из Шебалино уполномоченный Гуреев,— продолжал дед.— Он попил у меня чаю и приказал объехать все ближние урочища и позвать народ. Когда все собрались, вышел из анла к костру и говорит: «Ну что, долго будете вы прятаться друг от друга? Так вас в одиночку даже сиротская зима перешерстит всех и по ветру пустит... Лучше вместе вам жить. Сильнее будете». Он поднял голичок и показал его всем: «А нука, кто из вас самый сильный?» Тут же Карманову: «Ты широкоплечий, товарищ Карманов... Разломи этот венник... Да, да, возьми и разломи пополам! Не разломишь. А по отдельности каждый прутик? Это и мальчишка делает. Вот так, товарищи... Когда вы объединитесь и будете одной артелью жить, никакие беды не будут вам страшны! Подумайте! Вон Каспа и Апшуххта зажили поновому. Думайте, пока не поздно!» Сказал так и уехал уполномоченный. Стали мы думать. У кого-то арака нашлась. Привезли. С нею сначала было вроде сподручней. Обнимать полезли друг друга. Хитрая это штука, арака. Поначалу сблизит людей, а потом такое может подсунуть, что врагами сделает. Вот и тогда... Карманов стал своего Саврасого подхвалять: «Он меня не раз от волков уносил... Мчался, как ветер, через скалы и речки перепрыгивал!»

Что делает с человеком арака! Никто ему ни слова, а он разозлился, отвязал Савраску и ускакал в горы. А на другой день слышим: сломал ногу. Долго костыль под мышкой держал. Про араку больше и слышать не хотел. Стало его на народ тянуть, ходит, будоражит всех.

— Хватит волками жить... Пусть человек на виду у всех растет. Сильнее будет, крашквее! В одиночку всякие мысли травят, не дают покоя. Оттого и развели мол-

чунов. Человек боится слово сказать... Вот в тот год и родилась наша деревня,— закончил свой рассказ дед Кучук.— Колхоз стал. Карманова председателем избрали. А мне доверили почту... С тех пор я на государственной службе состою.— Дед строго посмотрел на притихший класс, поднялся, расправил грудь, медаль по привычке потрогал и пошел к двери, независимый, строгий.

...Много лет прошло с тех пор. Подросли мы все, а когда похоронили деда Кучука, в деревне стало кого-то недоставать. Без деда Кучука мы не мыслили себе наш колхоз. Односельчане, сколько помнят, видели строгого старика, и никто не знает, был ли он когда-нибудь молодым.

Мы часто подшучивали над старым человеком, и теперь нам невыносимо стыдно от этого.

...Так было каждое утро, в любую погоду: мы бежим, размахивая сумками, в школу, и у каждого, конечно, по паре собак, которые непременно сопровождали нас. В то же время выезжал из дома дед Кучук. В санях его, поверх охапки сена, всегда лежала огромная кожаная сумка со многими отделениями. Вместо приветствия, дурачась, мы обычно кричали:

— Дед Кучук, подвези немножко! Подвези!

Он останавливал коня и строго внушал нам:

— Аль не знаете, куда еду, а?

— Куда, дед Кучук?

— Я справляю государственную службу,— теребя бодродку, говорил он.— Не на свадьбу еду — в район. Развозить людей не положено! Почта — служба секретная.

И так было каждое утро. К вечеру дед возвращался, скидывал на плечо сумку и шел по деревне, разнося газеты и письма. Многие мы узнали о его личной жизни потом, когда Кучука не стало, от его старушки, незаметной, тихой и очень доброй. Узнали много такого, о чем и не догадывались. Совсем другим предстал перед нами дед Кучук.

...Как-то в трудную бурную зиму перепрыгнула через прясло во двор Кучука телка соседская. Подбежала к стожку и торопливо стала дергать сено. Старик узнал телку. Постоял некоторое время, подождал, пока та голод утолит, открыл ворота и прогнал ее: «Хватит. Поела немного, теперь не подохнешь... Иди в другом месте добывай».

Телка была вдовы Каланчиновой, крикливой, нервной бабы. Да и будешь небось крикливой, когда на руках пятеро огольцов осталось после смерти мужа.

В тот вечер пришла ее телка хромой. Или завязла где-нибудь между жердей, или угостил кто непрошеную гостью палкой либо камнем. Каланчиниха — на деда!

— Старый шайтан! Клочка объедков жалко! Подавись ты ими, набей ты ими свое ненасытное брюхо!

И понесла, и понесла... Не остановить Каланчиниху в гневе. В порошок сотрет, уничтожит обидными словами, да еще и на том свете пообещает кипящий котел и дюжину свирепых чертей...

Никто Каланчинихе не верил, деду Кучуку сочувствовали. А он в сердцах кричал на баб:

— Не осуждать, а помочь надо ей... Растрещались тут, будто сороки!

Поздно вечером у аила Каланчинихи остановилась подвода с соломой. Выскочила хозяйка и растерялась: дед Кучук метал стожок у ее пригона.

— Гордость замучила... Попросить людей слов не найдешь,— только и сказал старик, поворачивая к своему дому. Как выяснилось после, старик, возвращаясь с почты, свернул на поле и набрал соломы, выдирая ее с великим трудом из-под спрессовавшегося снега.

А Каланчиниха все по-своему поняла:

— Виноват, так вот и лазил по снегу. Он от меня за телку одним возом не откупится.

— Дура,— махнул рукой дед, услышав, что говорит соседка, и все согласился с ним.

А как-то подвыпивший после получки чабан Итушев, встретив в сельпо Каланчиниху, посмеялся:

— Давай тебе почтаря. Хи-хи... Он служащий... выдюжит... А телку твою я угостил: не лазь, не шарься по чужим дворам! Я вот на нее волчий капкан поставлю! А дед, он добрый!.. Хи-хи... Ты жми на него... Жми!

Неизвестно, устыдилась, нет ли своего оговора Каланчиниха, только, когда вдруг приболел дед, принесла ему берестяной туесок дикого меда.

— Напарься и пей с чаем. Все через пот выжмет,— наказала она и, пряча глаза, ушла.

Ничего этого мы не знали в те годы. Только когда началась война, дед Кучук стал самым заметным человеком в деревне. В каждом дворе с нетерпеливой надеж-

дой поджидали его. И если проходил мимо, подолгу смотрели ему вслед.

В первое же военное лето мужчин из деревни будто ветром сдуло. Переселились они в какие-то непонятные «почтовые ящики» с загадочными номерами. Потом на «полевые почты», а нас, подростков, собрал председатель Карманов и коротко сказал:

— Все, ребята... Отпрыгались. Будем замешать фронтовиков. Теперь и от нас зависит победа.

Мальчишки, которые были поменьше, с утра до вечера в войну играли. И у них как-то все выходило, что Красная Армия легко расквашивала носы «немцам». И те бежали жаловаться матерям. «Немецкие» матери поднимали крик на всю деревню. Жаловались председателю Карманову, чтобы приструнил родителей тех, чьи дети всегда почему-то представляли собой Красную Армию.

Тогда мальчишки стали делиться в игре на «своих» и «чужих» по жребью, и жалоб больше не поступало.

В первый месяц войны писем шло много. Видно, «полевые почты», в которых служили наши мужчины, были далеки от фронта. Солдаты, как сговорились, писали, что «непременно разобьют оккупанта, вторгшегося в пределы нашей Родины».

Слово «оккупант» стало ходовым в деревне, и кое-где говорят, даже появились имена собственные. Так, на второй ферме девчонки называли быка-производителя «Оккупантом». Появились собаки под кличкой Геббельс и Гитлер...

В эти дни дед Кучук весело выкрикивал под окнами:

— Держите привет от почтового ящика номер 2525!

У другого окна — другой номер.

И вдруг посыпались на деревню раскаленными камнями страшные известия. Они ранили людей. Это были первые похороны. Когда дед Кучук молча приходил в избу, снимал шапку и подозрительно долго рылся в своей сумке, все, кто находился дома, вставали и с ужасом смотрели на него. А он подавал хозяйке конверт с черной каемкой и стоял, виновато сгорбившись. Потом тихо уходил. Вслед ему летел плач. Тогда он возвращался, вытаскивал из сумки какой-нибудь недорогой подарок: то полушалок для хозяйки, то ребятишкам что-нибудь из одежды — и, как мог, успокаивал.

Когда он приезжал с почты, жена обеспокоенно спрашивала его:

— Есть?

— Одно.

— Кому?

— Анча Курганов погиб смертью храбрых. Кару изойдет от горя теперь.

— У Кару совсем ичиги износились,— вздыхала жена.— Босая...

— Давай твои старые пимы почию.

Садился ночью и чинил. А утром брал сумку и шел к овдовевшей Кару.

У соседки Каланчинихи ушли на фронт двое старших сыновей. И надо же тому случиться — на обоих в один день вручили Кучуку похоронные. Сел старик на крылечко почты. Задумался. Бьется баба из последних сил, чтобы прокормить оставшихся троих, как ей отдашь эти черные бумажки? Какой уж тут подарок смягчит такое горе. Его окликнула молоденькая розовощекая письмоноска из соседнего села.

— Да вот,— отозвался дед.— Сразу два извещения в одну семью. Как отдать?

— А вы и не отдавайте,— тихо проговорила девушка, боязливо оглядываясь.— Я так делаю.

— А можно?— вдруг заволновался.— Разве такое можно? Нельзя так, дочка. Семья на погибших помощь получит, а ты держишь. Ты помни: на государственной службе находишься! Смотри.— И дед погрозил ей пальцем.

— Жалко людей-то, дедушка,— беспомощно прошептала девушка.

— Что ж делать,— вздохнул старик.— Ты подумай, как отдать, чтобы меньше ранить человека. Думать надо! Думать! Мы же не телефонные столбы с тобой.

Девушка неуверенно отошла от старика. «Будет думать, будет»,— решил про себя дед, провожая глазами хрупкую фигуру девушки.

Дома спросил старуху про ячмень.

— Мешка полтора осталось,— сказала она и посмотрела выжидательно на старика.— Кому?

— Каланчинихе снеси полкуля... Скажи: вижу, мол, как мучаешься с детишками.

— Кого из них: Янара или Сашку?

— Обоих. Иди, иди... Завтра про одного отдам изве- щение... Второе погожу... Пусть соберется с силой.

— Так нельзя, старый... Так больнее,— запротестова- ла, охая, старуха.

— Как же?

— Не знаю,— качала головой жена.— Может, как-то принародно? Легче при людях-то...

«Верно,— поразился прозорливости своей старухи дед.— Принародно, завсегда легче...»

— Ты иди, иди... А я к председателю...

Карманов подумал и поддержал его:

— Ничего не известно про их подвиги, вот ведь бе- да...

— Смертью храбрых... Как у других, и только,— по- дал голос старик.

— Ладно!— хлопнул себя ладошкой об колено пред- седатель.— Поедем по урочищам, к сенокосным брига- дам.

Карманов говорил горячо, убедительно. Приводил из газет цифры о том, как героически бьет оккупантов наша армия.

— И вот стало известно, как славно сражались братья Каланчиновы, Янар и Сашка,— сказал он.— Ге- роями их называют в полку. Их примеру следуют другие. Такие, как Янар и Сашка, готовили полную победу... Их нет в живых. Они погибли, защищая Отечество. Погиб- ли вместе с другими смельчаками. Поклянемся быть та- кими же честными и самоотверженными в труде, как они, защищая нас, были в бою!

Сначала Каланчиниха стояла пунцовая и, перекусы- вая травинку, смущенно улыбалась. Потом побледнела. Качнулась, в страхе глаза вскинула, схватилась за грудь. Ее поддержали. Стали успокаивать... Усадили. Принесли чегень. Подошел председатель.

— Мы горды твоими сыновьями, мать,— сказал он.— Ты сумела воспитать их героями. Твое горе — это наше общее горе. Славных ребят потеряла наша деревня. Но у тебя еще трое. Надо сохранить их счастье.

Не шумела, не кричала Каланчиниха. С этого дня она как-то притихла, стала ниже ростом, молчаливей, будто ушла в себя.

— Горе согнуло ее, горе,— тяжело вздыхали жен- щины.

...Утром по первому снегу выехал дед Кучук в очередную поездку на почту. Падал снежок. Было тихо. Но тишина эта, знал дед, чаще обманчивой бывает. «Вернуться бы до бурана»,— озабоченно думал он, пошевеливая вожжами своего неторопливого мерина. Отъехал немного, видит, мальчишка идет. Рваный полушубок. Треух стеганый, па ногах — поношенные ичиги.

— Ты куда?— спросил дед.

Мальчишка потоптался какое-то время, тяжело вздохнул и вдруг с вызовом в голосе буркнул:

— На фронт.

У старика защемило сердце... И вдруг узнал в нем одного из Каланчинных сыновей, Айдара.

— Далеко собрался. Далеко.

— Я дойду... Все равно дойду...

— Конечно, дойдешь. Только в такой одежде тебя не возьмут, Айдар... Все бы ничего, да одежонка плохая. Пробовали вон мальчишки из соседней деревни уйти, завернули обратно.

Мальчик, насупясь, молчал.

— Ты вот что, Айдар. Садись в сани. Садись. Вот так. Я тебе справлю хорошую одежду. Тогда и пойдешь. Сам сошью. У меня кое-что есть.— Он повернул обратно коня, а сам торопливо говорил, говорил, не давая мальчишке опомниться.

— А ты не обманешь?

— Нет. Зачем же обманывать! Ты меня подожди дома. А как приеду с почты — приходи. Ладно?

— Ладно уж... А война не кончится?

— Пожалуй, до вечера не кончится. И завтра еще не кончится...

— Тогда я подожду... Ты только никому-никому не рассказывай!

...Вечером дед поставил в осиннике несколько петель на зайцев, вернулся домой, достал свою старую шубенку и стал молча распаривать ее.

— У кого опять несчастье?— спросила жена.

— На этот раз все спокойно. Каждый день бы так!— весело отозвался дед

В это время скрипнула дверь, и на пороге появился, швыряя носом, в одной рубашонке, калошах на босу ногу, Айдар.

— Ну и молодец, Айдар,— поднялся старик.— Будем кроить по твоим плечам. Иди к огню. Иди!

А когда шили ему из заячьей шкурки шапку, наказал:

— У кого там из твоих товарищей-фронтовиков плохие шапки, пусть идут ко мне... Зайчишки хорошо попадают. Всем сошью!

В ту зиму многие зайчишки из урочища Сарычмень помогли уберечь горячие мальчишеские головы от злых студеных ветров и простуды...

Теперь в нашу деревню ходит почтовая машина. Но мы часто вспоминаем деда Кучука. А когда собрались писать историю колхоза, решили: без него, так много сделавшего доброго и хорошего людям, не полной будет история. Пусть этот рассказ послужит началом ее.

### Весна аксакала

Дни стояли над Чуйской степью белесые, звонкие. Вся долина от урочища Кара-Су до деревни была усеяна перламутровыми ракушками. Это переливались в солнечных лучах льдинки, припаянные легким морозцем к многочисленным вмятинам от подков и копыт. От этого блеска было весело и светло на душе Магузума Асанова. Высокий, костлявый в плечах старик сидел в седле молодо, свободно. В глубоких морщинах, исполосовавших вдоль и поперек его загорелое темное лицо, светлело что-то безмятежное, праздничное. Иногда старый чабан восклицал, широко размахивая тяжелыми большими руками:

— Вот так, Джолтой... И не спорь. Я знаю, что делаю...

Он щурил глаза. Улыбался. В этот день сама молодость позвала его в дорогу. И вот сейчас, шагая где-то рядом, она придерживала его стремяна, подзадоривала старика, напевая давно забытые песни юности. И он бодро выпрямился в седле, что-то мурлыкал в рененькие усы, беспричинно смеялся.

Въезжая в родное село, по-хозяйски посмотрел окрест. О чем-то вспомнив вдруг, осадил коня у старого куста караганы. Тонкие, жесткие прутья ее росли кучно, от одного корня. Сотни раз обглоданный козами, этот куст неутомимо выпускал каждую весну в рост новые прутья-

ки. Вот в тот самый май, когда Магузум — тогда молодой, видный парень — впервые понял, что Джолтой — это та самая девушка, которую он не раз видел в своих мечтах, карагана была такой же низенькой, живучей, сильной. Преодолевая робость, он схватился рукой за колючую ветвь и тут же, засмеявшись, отдернул ее. Смех и решил судьбу Джолтой. Они вместе стояли у того колючего куста и смеялись. Вспомнив сейчас об этом, Магузум вдруг явственно ощутил колючки в ладони.

— Ах, аксакал... Вы бала, что ли? — весело проговорил вполголоса старик и быстро соскочил с коня. Зайдя на крыльцо, обернулся на старую карагану, потом поднял к лицу широкую ладонь, удивленно качнул головой: — Разве такое бывает? Будто сейчас впились те колючки... а?

Его встретила девушка в белом фартуке. Она усадила Магузума за низенький столик и бойко отрапортовала:

— Есть сибирские пельмени, баранина, азу по-татарски, чай.

— Э-те-те-те! — прервал ее старик, подняв руку. — Ты, дочка, не с того конца читаешь... — Он засмеялся. — Ты давай с того, где написано про горячее. Разве не можешь? Или грамотой слаба?

Девушка отвернулась, фыркнула в фартук. Озорно сверкнула на старика глазами.

— Могу. Пожалуйста...

...Магузум сквозь зубы потягивал из запотевшей бутылки вино и, причмокивая потрескавшимся на ветру губами, побрякивал. То ли от удовольствия, то ли от того весеннего настроения, которое колобродило в душе старика с самого утра. Ему хотелось говорить. И он, щурясь на окно, говорил. Медленно, не торопясь.

— Сына моего не знаешь, Хазбулата?

— Знаю, как же... — сказала девушка и с интересом посмотрела на старика. — Вместе учились...

— А ты чья дочка-то?

— Берсимбаева. Знаете?

— Еще бы не знать... Где он сейчас стоит с отарой?

— В Кара-Кем.

— Все же там, — усмехнулся старик. — Конь к седлу привыкает, человек — к месту. — Старик провел широкую ладонью по лицу. — У меня сегодня хороший день. Хазбулат, понимаешь, отару принял... — Он бросил выжидая

тельный взгляд на девушку. Она понимающе кивнула ему и приветливо улыбнулась.

— Такое вот дело. Теперь он человек самостоятельный,— солидно закончил Магузум и допил вино.— Пойду в магазин. Куплю ему бинокль. Пусть вооружается честь по чести. Как положено настоящему чабану.

И уже встав из-за стола, добавил доверительно:

— Джолтой тоже... вроде именинница. Пятьдесят лет как живем с ней душа в душу. Юбилей вроде... Ты бы помогла мне, дочка, платье выбрать. Да хорошее. Весеннее... А?..

— Платья в магазине модные есть,— сказала девушка.

— Ну пусть модное... Не весеннее, а модное. Только красивое, чтоб к лицу...

...С подарками выехал уже под вечер. Встретил знакомого старика. Слез с коня, поздоровался за руку и, залезая тут же в седло, сказал:

— Бинокль взял. Дорогой, собака. Кусается! Но надо... Сын, понимаешь, у меня отару принял...

— Богат ты, Магузум. Сын уже на свои ноги встал. Это хорошо. Что жалеть деньги!— мудро рассудил аксакал.

— Я тоже так думаю... И еще, понимаешь, Джолтой...— Он свесился с седла и тихо добавил: — Юбилей сегодня. Пятьдесят лет вместе. Как не отметить? Вот и ей платье купил.— Магузум похлопал по кожаному арчимаку.— Тут лежит. Совсем как весна...

— Хорошее дело сделал, Магузум,— подтвердил старик и, пощипывая бородку, весело хихикнул:— Когда весна рядом — сколько годов прибывает. Не правда ли?

Магузум весело подмигнул аксакалу и тронул коня.

...Проезжая мимо колхозной конторы, Магузум увидел, что в кабинете секретаря парткома Чичимбаева раскрыто окно. Решил зайти. За большим столом, покрытом зеленым сукном, сидело несколько человек. В одном из них признал председателя аймакисполкома. Грузный, высокий, тот приподнялся из-за стола и весело кивнул Магузуму. Старик огляделся: Чичимбаев, председатель колхоза Карыпов, члены правления... Все свои люди. Близкие. Знакомые. Он обошел вокруг стола. Поздоровался с каждым за руку. Сел на краешек скамейки. Все доброжелательно смотрели на него.

— А у меня, понимаете, какой сегодня день,— несколько смущенно заговорил он.

— Знаем,— сказал председатель аймакисполкома.— Мяса наварил?

— Мяса?— не понял Магузум.

— Ну да, конечно. Чем же народ будешь встречать?— подхватил Чичимбаев.— Смотри, какие подарки заготовили твоей семье.

И тут только заметил на краю стола Магузум несколько больших свертков...

Старик обвел глазами улыбающихся людей и все понял. Он растроганно отвел вдруг повлажневшие глаза в сторону, растерянно проговорил:

— Вот такое дело.

Все засмеялись и стали поздравлять его.

## Настенька

Васька Горбунов был парнем видным, работающим. Отцовская хватка. У того не было мерила: что утро, что вечер — одна статья: до седьмого пота в работе. Места-то в Катанде — сами на картину просятся, а вот в хлебопашестве — не поработаешь, не поешь. Васька тоже работающим рос. Да и то понимать надо: отец с матерью почти всю жизнь мыкались больше по чужим людям. Потом избу свою поставили, а когда Васька уже подростком стал, купили у проезжих цыган забитую кобылу. Худющая была та кобыла. Вроде кормили справно, а неправлялась. Маялась, похоже, чем-то. А жеребенка принесла доброго. Души в нем Васька не чаял. К тому самому лету, когда, уставший от многодневных походов, в село втянулся отряд Петра Сухова, Васька подседлал впервые своего каурого Орлика — таким гордым именем назвал жеребенка. Горячим конем выглядел Орлик. Катандинцы в те дни жили заботами о красном отряде. Бани протопили для бойцов. Хлебы испекли. До прихода суховцев пошаливали недобрые ватажки, а попросту — бандиты. С приходом красногвардейцев затаились. Ушли по глухим уремам.

— Красные шутить с ними не будут,— радовался отец.— Наведут порядок.

Но планы у отряда были другими. Каждую ночь горел огонь в двухэтажном деревянном доме, где обосновался штаб. Суховцы были славными, добрыми парнями. Только сильно уставшими, исхудавшими. Как сейчас помнится: сидят кто на завалинке, кто на бревнах прямо на улице и чинят, перебрасываясь шутками, шинели свои, гимнастерки, сапоги.

Тут и увидел Васька статную, подстриженную в кружок девушку. Она из штаба вышла. Легкие сапожки обтягивали стройные ноги. Перепоясанная ремнями — слева шашка, справа сумка полотняная с красным крестом посередине — прошла она мимо Васьки, чуть-чуть насмешливыми глазами стрельнула в его сторону... Остановилась около бойцов.

— А ну, Степан, дай-ка я попробую, — и взяла у одного из них гимнастерку. Боец виновато почесал затылок, смущенно пробормотал:

— С какого краю ни возьму, разлазится, будто паутина, холера ее возьми. Ты уж, Настенька, поаккуратней с ней, повежливей...

— А у нас не разлезется, — уверенно сказала Настенька. И вот уже игла замелькала в ее проворных руках. Затаив дыхание, смотрел Васька на девушку. И вздрогнул, очнулся, когда услышал голос бойца:

— Нет, ты глянь на этого парня, Настенька. Съест ведь он тебя!

— А что ему меня есть!.. У него небось маманя в жаровне баранинки приготовила, блинцов испекла...

Васька потупился, покраснел и пошел к своему дому.

— Не обижайся, парень, — примиряюще бросил насмешливый боец. — Табачком не угостишь?

Василий еще пуще покраснел. Хлопнул себя по карманам, виновато улыбнулся:

— Не курю... Но я счас, счас... У отца есть... злой, говорят, как цепной пес! Я выпрошу!

Отец только что привел коней.

— Так чего ты в горсть-то, — остановил нетерпеливого парня отец. — Мать! Дай-ка мешочек какой ни на есть... Рубленого насыпем. Пусть курят, пусть...

Чтобы сократить дорогу, Васька вскочил на Орлика, бросив на его спину войлочную подстилку, и прямо от ворот помчался к штабу. Дорогой понял: Орлик — это так... для форса. Смотрите, мол, какой я сам орел. И конь

у меня под стать... Он устыдился своих мыслей и натянул повод, чтоб приостановить горячего питомца, но его уже заметил тот боец, встала с бревен и Настенька. В больших серых глазах ее мелькнуло что-то похожее на восхищение.

— Вот,— сказал Васька, стараясь не глядеть в сторону девушки, и протянул обрадованному бойцу мешочек, набитый табаком.

— Спасибо, парень, спасибо,— вскочил боец поспешно.— Вот удружил... Но за революцией не пропадет. Ты поймей это в виду, парень. Не жалеи!

— Да ну, что вы... отец просил передать свое почтение.

— Ишь ты,— удивился боец и тут же восхищенно присвистнул:— Да ты, брат, врожденный кавалерист! Смотри-ка, Настенька, а?

— Может, сменяем на моего Рыжего?— блеснула глазами девушка и кивнула в сторону площади, где ходило несколько спутанных поджарых коней. Шерсть на них была всклокочена. У многих проступали ребра. Васька смущенно хмыкнул, покачал головой и помчался домой. А потом не находил себе места, совсем потерял покой. Перед глазами стояла гордая, насмешливая Настенька.

Вечером пришел сосед Горохов и, сидя на припечке, нещадно дымя самокруткой, взволнованно рассказывал:

— Парни-то у Сухова с ног валяются... Устали, как черти.

— А кони,— подхватил отец.— От ветра качаются.

— Закачает,— хмуро бросил Горохов.— Верст небось тысячу отмахали, и все, говорят, в боях, в боях... Сзади казаки поджимают, а с боков — бандиты шиплют. Похудеешь... И где это регулярная-то Красная Армия? Семен Явцев сказывал, где-то под Уралом с генералами белыми бьется.

— Неужто и сюда казаки нагрянут?— испугался отец.

— Сухов им будто сучок в глазу.

— Это так,— согласился отец.— Коней бы им сменить. Худющие — кожа да кости.

— Пошарить у наших справных мужиков могли бы.

— Не станут. Не та закваска. Красногвардейцы, понимать надо...

Васька слушал мужиков, и ему стало страшно: а ну

как и впрямь заставят отвести Орлика в отряд, а взамен худобу трехногую подсунут? Сердце его сжалось.

...Чуть свет выехали всей семьей за Катунь на сенокос. Где-то осталась за пихтачом Катанда, а с ней и тревоги. Переворошив рядки, Васька взял литовку. До самого обеда махал ею, обкашивал кусты. А после обеда скопнили подсохшие рядки и сложили в стожок. К вечеру мать пошла к парому — дела есть по дому. Корова, куры...

Провожая мать, Васька нервничал.

— Пойду с ней? — умоляюще смотрел он на отца.

— Нечего там делать... Переночуем тут с конями, — отрубил отец. — Чего ты забыл в деревне? Все на покосе... торопятся с кормами управиться, пока вёдро.

— А мать-то... Что ж — одна?

— Ничего ей не доспееется.

Лежа у костра, Васька думал о Настеньке. Чудная. Одна во всем отряде. Смелая. А красивая... Бывают ли еще красивее?..

И вдруг — толчок в сердце: а если казаки? Как же она на своем Рыжем? Куда на таком одре ускачешь?

— Тять... А казаки могут напасть... на отряд-то? Слышно, к Коксе подошли.

Отец шуранул палкой в костре. Искры, будто нарядное облачко, рванулись кверху. Заслоняясь рукой от ожившего пламени, он огляделся и тихо обронил:

— Небось караулы-то выставлены. Секреты тоже. Чать, не глупые... Посмотри на коней.

Васька поднялся. Прислушался. У подошвы горы в густом черемушнике послышалось далекое пофыркивание. Он прошел кошенину и углубился в кустарник. На большой поляне нашел своих коней. Присел перед Орликом, проверил пута. Тот потерял головой о его плечо, немного укусил. «Ух ты, Орел мой», — ласково потрепал его Васька по холке. Вдруг где-то совсем рядом послышался топот копыт и тарактенье. Будто легкая таратайка гроыхала по каменистой тропе.

Васька шагнул в кусты и затаился. По тропе, которая бежала над Катунью в сторону Тюнгурского перевала, промчались друг за другом с десятков всадников. Последние два верховых шли парно, волоча какую-то тележку.

— Пулемет!— ахнул Васька. Сердце его испуганно затрепетало.— Казаки! Куда они?

Там, где горел костер, вдруг раздался приглушенный крик, полетели во все стороны искры, и все смолкло. Только, замирая, еще глухо гремел, удаляясь, окованными колесами по камням пулемет.

— Отец!— прошептал в ужасе Васька. Он вскочил и побежал к костру. Бежал, не замечая чаши. Исхлестанный прутьями, поцарапанный, подскочил к месту стоянки и замер: отец лежал у дерева, истекая кровью. Дико вскрикнув, Васька отскочил назад. Упал в траву, забился на ней, по-мальчишечьи плача навзрыд.

— Тя-тя! Тя-тя!— кричал он, обливаясь слезами. И вдруг услышал стон. Какая-то сила подбросила с земли Ваську, он кинулся к отцу. Приподнял его. Сдернул с себя рубашку, стал вытирать его лицо. Нервно вздрагивая, с надеждой выкрикивал:— Тятя, не умирай... Тятя. Я помогу.

Он посадил его к дереву. Отец поднял руки, ухватился за голову, простонал.

— Шашкой рубанул. Зверюга...

— Тятя, тут в котелке теплая вода... Ты посиди... Я сейчас...— суетился Васька.

Он промыл кровоточащую рану на голове отца.

— Нашел бы подорожник, сынок,— охая, попросил отец.— Иль медунку выжми. Можно еще... тыщелистник...

Васька выхватил из костра пылающую головню и побежал по поляне, ища нужную траву. Его по-прежнему бил озноб. «Сейчас, сейчас...»— бормотал он.

Он нашел сразу несколько медунок, растер их в руках и выжал над раной... Завязал голову отца своей исподней рубашкой. Закутал его в одеяло и, как маленького, уложил у костра. В больницу бы, в Коксу. Да как? И вдруг его осенило:

— Настенька!

— О чем ты?— слабо проговорил отец, с трудом приподняв веки.

— В отряде-то Сухова, тятя, фершеллица есть... Сам видел. Настенькой зовут...

— Погодь, сынок... Оклемаюсь чуть... Оглушил меня казак. Кабы не откачнулся— отрубил бы напрочь голову... А за что? За какую вину?

Отец закрыл глаза. Передохнул немного. И с тревогой в голосе прошептал:

— Свидетелями мы оказались, сынок... Худо, брат. Худо!

— Лежи, лежи,— забеспокоился Васька.

— Уходить нам надо. В горы, что ль... Подальше от тропы. Ты бы волокушу подпряг да в ущелье отволок меня. А сам — на брод, и в отряд...

— За фершалом?— загорелся Васька.

— Не... Командиру сказать. Казачишки в засаду, не иначе, пошли... Есть там за Тюнгуrom притор... рядом узкая, в одного коня, тропа. Не обойти суховцам притор. Там порешить могут всех. Ну, а если фершелница сможет, прихвати ее с собой. Да матери... Слышь? Матери — ни слова!

— Сполню все! Сполню, тятя! Я сейчас, сейчас...— Васька притащил от стога волокушу и, схватив уздечку, побежал к коням.

А через час-полтора верхом на Орлике он уже мчался по каменной тропе вверх по Катунн — где-то там у долины Лебедей был мелкий пережат.

Перебравшись благополучно через Катунь, погнал коня ближними тропами в село. В предрассветных сумерках увидел впереди какую-то темную массу. Она двигалась, мелькали тени между деревьев. Осадил Орлика. Присмотрелся, услышал глухой тяжелый перестук копыт и ясно разглядел отдельных всадников. «Уходит отряд, — мелькнула догадка. — Прямо на Тюнгур идут... волкам в пасть!»

В этом месте дорога сворачивала влево, огибая Катунский яр, делала большой крюк. Васька погнал коня целиной по самой береговой кромке. «Яр перебегу без Орлика, — решил Васька. — Успею! Лишь бы не пустить отряд дальше. Не дать той заставе расправиться с ним на узкой тропе!»

С трудом вскарабкался из-под яра на берег. Задышавшись, продрался сквозь кусты колючей акации и прямо перед собой увидел первых всадников.

— Э-ей! — закричал он. — Сто-ой! Назад!

И угодил в руки бородачей. Его оглушили чем-то, бросили на землю. «Казакн! — горячей струйкой кольнула мысль. — Идут за отрядом... А там — застава!..»

Васька закрыл лицо руками и заплакал. Казаки помялись, не зная, что с ним делать. Раздался дробный топот копыт.

— Что там у вас?— расслышал Васька раздраженный властный голос.

— Да вот, парень, ваш бродь... Вроде сельский, а кто его знает? Может, от своих отстал да переоделся.

— Не похоже, что ихний,— возразил ему второй казак.— Тутошний, поди-ка...

Васька приподнялся на локтях. Встал, пошатываясь. Теплые струйки крови заливали глаза. Бежали по щекам. На губах ощутил соль.

— Ты кто? Зачем тут? — крикнул офицер. Васька размазал руками кровь на лице. Сплюнул себе пол ноги.

— Ну!— ткнул его прикладом в спину бородач.— Сказывай, сучье вымя!

— Сам ты — вымя,— огрызнулся Васька.— Нечего мне сказывать. Тутошний я. Тутошний!— вдруг закричал он.— За что вы людей-то, а? За что? Мы все тутошные... все! Но мы ихние... Ихние! Поняли, вы, зверюги?— он со злорадством смотрел на своих палачей. Его трясло, как в лихорадке. Однако он чувствовал, что сейчас, в этот, может быть, смертный час для него, он был сильнее их.— Бандиты! Кровопийцы вы! Ага-га!— кричал он не своим голосом и вдруг, рванулся в сторону и кубарем полетел под яр.

Теря сознание, на миг, будто сквозь дым, увидел утреннюю зарю. Кровавыми полосами она прочертила край неба и упала на Катунь, высветив ее свинцовую поверхность букетами каких-то розовых полевых цветов. Еще ему показалось, будто он услышал голос Настеньки. Встрепенулся, но тут же оторвавшись от земли, легко и свободно полетел куда-то, пока совсем не растворился в огненной дымке утренней зари.

Бородачи постояли на берегу, о чем-то переговариваясь, потом раскачали ногами нависшую над яром глыбу земли, и та с шумом устремилась вниз, подминая под себя мелкий кустарник, вырывая из гнезд небольшие камни.

В том месте, где упал Васька, вздыбился фонтан пыли.

## В бурю

Как часто бывает в горах, буря сорвалась невесть откуда. Тугой ветер прошелся по каменному ущелью, в котором плескалась Катунь, взъерошил воду, метнулся вверх, потрепал кустарник на берегу, потом кинулся в долину и пошел гулять в траве, срывая целые охапки белого пуха давно отцветшего осота. В воздух взметнулась пыль, сухие листья. Зашумела, взбурлила Катунь, шарахнулась в каменные щеки берегов одичавшей волной.

Когда доярки, побросав грабли и вилы, подбежали к берегу, чтобы спасти лодку,— было уже поздно. На виду у них под старую лодку, будто хищник, подобралась волна, подбросила ее кверху и швырнула на каменный торос... Лодка, вздыбась, упала со всего размаха плоским днищем на острый камень, замерла на какой-то миг и с треском развалилась. На бечевке осталось несколько ребер каркаса да перебитый киль. Доярки ахнули и, всплеснув руками, с тревогой посмотрели на противоположный берег. А там уже из ближайшего ущелья к месту дойки одна за другой выходили коровы. Шли они, не торопясь, по пути прихватывая траву. Некоторые останавливались, мычали, будто вызывали доярок.

— Моя... Это она, Красуля,— проговорила молоденькая доярка, подвязывая торопливо платок на голове.— Она не может лишней минуты ждать. Ведерница ведь... А соски слабые. Что же делать? Что теперь будет, а? — Она испуганно оглядела подруг.— И хоть бы бревешко какое пришибло!

— С ума сошла, Нюрка,— осуждающе сказала одна из девчат.— В такую-то волну?

— Так ведь солнце закатилось уже! — воскликнула Нюра.

— Ну и темнеет, что же теперь? Пусть животноводникру помечет,— с нескрываемым озлоблением сказала та же доярка.— Ему надои подай да корма, а сам небось ни разу не подумал, и на чем это переправляются каждый день на покос доярки? Ведь на гнилушке плавали. Как еще не затонули. Прихватило б вот так на реке — и все, отработались... Так и надо этому чертову корыту! — Она с ожесточением сплюнула и, прихватив ведро, уже беззаботно добавила: — Ягодничать будем. Смотрите, малины сколько!

— А как же дойка?— тихо проговорила Нюра, нервно теребя передник.— Ты, Валя, зря по эти ягоды. Может... на мост, а? — несмело предложила она и посмотрела вверх по реке. Там где-то за перевалом должен быть мост.

— Пять верст по этому берегу да столько же обратно по тому. Когда придешь к стану? — возразила Валя.

Девушки опустились на траву, прижались друг к другу и пригорюнились. Коровы на противоположном берегу надсадно мычали.

Вот подскакал к стаду верховой.

— Липатыч! — узнали в нем пастуха дойного гурта девушки.

Они вскочили, замахали руками, стали кричать. Заметил. Снял кепку, потряс ею над головой, что-то в ответ крикнул. Да разве разберешь в такую бурю! Девушки сбежали под яр, к лодке подошли, стали показывать ему. Почесал затылок и развел руками. А коровы выстроились по берегу, как на смотру.

— Ах, сердце мое разрывается, девчонки! — сквозь слезы произнесла Нюра. — Угробим коров! Сколько труда было вложено, сколько усилий.

Нюра не выдержала, сорвала с головы платок и решительно произнесла:

— Не могу больше ждать. Пошли, девчата, вкружную на мост...

К месту дойки подъехал молоковоз. Новенькая автомашина подрулила к самому берегу, лихо развернулась и сбросила газ. Из кабины вывалился вихрастый парень. Он, как всегда, был аккуратно одет, при галстукке. Обычно, приезжая к гурту за молоком, он ходил на цыпочках между коровьих шлепков, чтобы не запачкать начищенные ботинки. Над доярками всегда подтрунивал:

— Зря вы гоношиться: не догнать вам второго гурта. Там надон так надон. А у вас что? Так себе. То Липатыч травы не находит подходящей, то соли нехватка, то водопой дрянной... А доярки какие? Иная сосков у коровы не найдет.

Вот и сегодня Нюре показалось, что на лице Федора насмешливая улыбка: «Ну, конечно, это же первый гурт. У них все не слава богу».

Нюра погрозила Федору кулаком.

— Пошли!— махнула девчатам.

Они отыскиали тропку и зашагали по ней. Одна из девчат сказала:

— Была бы с той стороны дорога на мост, мог бы и Фелька навстречу выехать. А то ведь завалы, ущелье. Выезжать на тракт — значит возвращаться в село, круг давать примерно в сто километров. Эх, была бы мехдойка... Все наладить не могут.

— Пройдем. Не сломаемся,— сказала в ответ Юра.— Ничего нам не сделается, девчонки. А про мехдойку ты правильно говоришь, Стеша.. Хоть и поздно пришли бы, а все равно успели бы подонть. Все этот Маркелов тянет. Вот теперь возьмется за голову. Небось поймет что-нибудь животновод.

А в это время на другом берегу Катунн шло экстренное совещание двух кровно заинтересованных в надое лица: шофера и пастуха.

— Вот это номер, а?— насмешливо фыркнул Федор.— Весь удой насмарку! Ну и дела!

— Дак вот,— сказал Липатыч хмуро, посасывая самокрутку.

Помолчали, Федор нервно встал.

— Ну, видно, ждать тут — пропащее дело. Поеду.— Он взялся за ручку дверцы.

— Ты того, Федор,— остановил его Липатыч, — повременил бы чуток, а?

— А чего ждать-то? Концерта не слышал? — выкрикнул Федор, кивая в сторону мычащих коров.

— Прямо не знаю, что бы такое скумекать-то... Девки в обход поперлись. Видел? — сокрушенно проговорил Липатыч.

Федор открыл дверцу кабины и плюхнулся на сиденье. Он посидел, нервно покусывая губы, соображая что-то, потом вскинул голову, быстро опустил стекло и крикнул Липатычу в самое ухо:

— А что, если сагитировать девчат из второго гурта, а?

Липатыч замахал руками:

— Да ты что? Нет, брат. Сраму на весь колхоз не оберешься. Засмеют.

— Ишь, какие обидчивые!— усмехнулся Федор. — Что же делать-то?

Он вылез из машины, крепко стукнул с досады дверцей и пошел к берегу. Ветер стихал. Но Катунь по-прежнему бесновалась в крутых скалистых берегах. К нему подошла корова и рогом легонько боднула в спину.

— Ну, ты, холера!—отскочил в сторону Федыка.— Своих не признаешь?

Корова шагнула за ним.

— Вот ведь чертовка какая!

— Красуля,— дрогнувшим голосом произнес Липатыч.— Требуется... Видишь, молоко теряет. Знатная корова. Не животное, а прямо молочный завод,— вздохнул Липатыч.

— Завод, завод!— вскипел вдруг Федыка и сорвал с себя пиджак.— Давай халат, где у вас подоинник? Что ж мы, звери, что ли? Вишь, как мучаются коровы... И сам давай... Включайся!

Липатыч крикнул, хлопнул Федора по плечу, хотел сказать что-то ласковое, благодарное парню, да не нашел подходящих слов, махнул рукой и бросился к шалашу.

— Ладно уж... ладно,— бормотал Федор, засучивая рукава и с сожалением поглядывая на свои начищенные ботинки.— Только ты, слышь, Липатыч, никому. Ни одной душе об этом, а то узнают— прохода не дадут!

— Могила!— стукнул себя в грудь старик.— Ни звука! Разве я не понимаю!..

— Ну вот так,— успокоился Федор и подошел к Красуле, подсел к вымени и взялся за соски. Но Красуля сердито обнюхала его, фыркнула и резко ударила ногой. Федор отшатнулся.

— Вот черт!— разозлился он. Перед ним выросло приведенье в белом.

— Липатыч! Сопrotивляется, дьявол. Как шархнет!..

— Возьми халат. Это Нюркин... Прими!

Федыка неуверенно взял халат.

— И ломтик хлеба возьми. Подсласти. Приучена.

Федор подошел к корове.

— Тпрутя! Тпрутя!— приговаривал он. Потрепал по шее и подал кусок хлеба. Потом не совсем уверенно сел под бок и, настороженно поглядывая на задние ноги коровы, начал дойку. Где-то рядом ударили тугие струи молока о звонкий подоинник. «Липатыч примостился»,— подумал Федор.

А у него первые струи упали на траву, обрызгали колени.

— Нет, так не пойдет...— Федор отставил подойник, морщась с досады, отряхнул брюки и пошел к машине. Включил свет.

— Ты что? — забеспокоился Липатыч.

— В землю все уходит,— откликнулся Федор, возвращаясь к Красуле.— Вот теперь порядочек!

Пока выдаивал Красулю, его окружило несколько коров. «Видно, все Нюркины,— подумал он и заторопился. Но уже скоро у него стали неметь пальцы.— А как же она?— вспомнил о Нюре, с опаской поглядывая на окруживших его коров.— В день три раза... Шутка сказать!»

Подойник быстро наполнялся, а вымя, кажется, совсем не опадало. «Вот если каждая даст по столько,— поежился он,— когда их выдоишь?» Ему показалось, что с начала работы прошло уже несколько часов. Немела спина, шея, становились непослушными пальцы. Наконец молоко шапкой, будто вскипая, поднялось вровень с краями подойника.

— Флягу! Где фляга?— крикнул Федор, разгибаясь.

— Ой, спина моя, спинушка! — простонал где-то рядом Липатыч.— Да там же, у шалаша...

— Ладно. Я сам. Видал? Полнехонько! И еще есть! Это, я скажу, корова!

— А я тебе что говорил!— откликнулся старик.— Замотают они нас с тобой, ведерницы-то.

— Ну да, заматают!— усмехнулся Федор и бодро направился к шалашу. За ним потянулись и коровы.

«За Нюрку меня принимают,— подумал Федор и усмехнулся:— Доярка!»

После Красули, чтобы ускорить дело, Федор подсел к первой подвернувшейся под руку корове, но та шумно фыркнула, отошла прочь. Федор стал преследовать ее, наконец плюнул и сел под другую корову, та недобро покосилась, но он не заметил этого и потянул ее за соски, приговаривая:

— Тпрутя, тпрутя!

Корова резко обернулась и устремилась на него, нагнув голову, Федор увернулся и схватил ее за рога.

— Вот ведь чертова кукла! К ней с добром, а она как личного врага встречает. Липатыч!— закричал он.— Липатыч!

— Иду-у!

Пришел старик. Тяжело дыша, сказал:

— Так — это же не Нюркины! Понял? Я тебе покажу... Вот пестрая Жданка. Дон, пожалуйста. А эти вот Валькины. Это Стешки вот, комолая.

— Да что же, перед каждой и меняй халаты? — прозрел Федор.

— А ты думал как? В Нюркином халате — ее коров дон, в Валькином — Валькпных... А то как же? Корова, она не привычна к анархии. Эх, покурить бы! — вздохнул Липатыч. — Да ведь разоблачит нас табачный дух-то.

— Давай уж терпеть будем, — согласился Федор. — Как руки?

— Да как деревянные. Смотри, кто сюда скачет? — указал в сторону дороги старик.

— Кто-то едет, — вглядываясь в темноту, произнес Федор. — Иноходец... Чей?

— Иноходец, говоришь? Так это животновод Маркелов.

Всадник подъехал к берегу.

— Эй, кто есть? — раздался зычный голос. — Почему с молоком заминка? — Увидев Федора и Липатыча, строго спросил: — В чем дело? К чему этот маскарад?

Липатыч рассказал о создавшемся положении в гурте. Животновода озадачило его сообщение.

— Так что, товарищ Маркелов, вызываю тебя на соревнование, — предложил Федор и, повернувшись к Липатычу, добавил в категорической форме: — Неси халат. Любой. Стешкин или Валюхин. Давай.

Липатыч выжидательно потоптался на месте.

— Иди, иди, — приказал Федор. — Мне ведь, товарищ Маркелов, тоже не положено заниматься дойкой, но, учитывая катастрофическое положение с молоком, которое может «пригореть» у коров, дою. Вот уж третью флягу наполняю.

— Н-да, — замылся животновод и нехотя слез с коня. — Погубить стадо можно так-то...

— Запросто! — поддержал Федор.

— А у меня, как на грех, на правой руке, сам знаешь, две култышки вместо пальцев-то...

— Кулаком, кулаком, товарищ Маркелов. Сам же учил девчонок! — подсказал Липатыч, подавая ему халат. — Кулаком еще способней... Халат-то вроде бы

Стешкин. Маловат будет, да сойдет. А коровок ее покажу... Вот она первая, комолая, потом Незабудка есть, бусая такая, Королева, Дочка есть...

— Ну, ну, хватит тебе,— буркнул недовольно животновод, но халат принял.

— В нашем полку прибыло!— весело сказал Федор.— За работу, товарищи!..

## Крутой поворот

Широкую долину со стороны взгорья окаймляет березняк, а слева, где заново отстраивается ферма, день и ночь шумит Тулун.

«Лопочет и лопочет... Бежит куда-то»,— думает Кирилл, сидя на валуне с гармошкой на коленях.

Над рекой плывет стайка облаков. В прибрежной чаще перекликаются птахи, и сюда, на взгорье, тянется густой запах цветущей черемухи. Дальше, за потемневшими пиками лиственниц и пихт, высятся великаны-горы. Вершины их еще в снегу. Туда весна пока не добралась.

В низине, на ровной площадке, лениво потрескивая, горит нежаркий костер. Он то затухает, то вновь вспыхивает, искрясь и дымя. От костра поднимается тень, и до Кирилла доносится ворчливый голос отца:

— Кирюха! Долго прохлаждаться будешь? Спать пора. Утром опять не растолкаешь...

*Кирилл с досадой морщится*, но встает и покорно идет к костру.

— Сегодня какое число-то?

— Ну двадцатое,— недовольно говорит Кирилл.

— Запиши,— тычет пальцем отец,— сего двадцатого числа мая месяца молока колхоз не подвозил к ужину. Обязательно пометь... Еще высчитают за харчи. С них сбудется.

— Ладно,— нехотя тянет Кирилл и, набросив на плечи стеганый ватник, ложится на бок, лицом к костру, а около нежаркого костерка на стружках и щепках вповалку уже спят мужики из их строительной артели. Отец присаживается на чурку и начинает раскуривать трубку.

— Ты бы письмишко домой направил,— тихо говорит он.— Как и что... Вот скоро отбахаем двор, может, най-

мут дома рубить. Работы тут непочатый край... Заработать можно. Одно слово, Алтай — денежки хватай.

Кирилл думает о чем-то своем и не слышит отца. Вдруг в тишину ночи врывается какой-то новый звук. Он растет, вбирает в себя ночные шорохи и треньканье ручья. «Девчонки, кажется, поют,— приподнимается на локте Кирилл.— Куда они? Вот неугомонные... Может, с дойки? А может, снова сюда?»

Когда это было? Позавчера? Пришли сюда девчата с лопатами, со скребками. И среди них одна... Кирилл видит перед собой тоненькую, как выюнок, девушку, ее большие глаза, озорные и смелые, слышит голос...

Девушки, которыми командовала эта глазастая девчонка, набросились со смехом на сутунки, лежавшие буртом поодаль от двора. Часа два пошкурили и пошли.

— Мы тоже будем строить дом,— сказала девушка перед уходом, обращаясь к отцу Кирилла.— После работы. Всей комсомольской организацией.

Старик ухмыльнулся в бороду.

— Жадны вы до работы,— промолвил он.— Скажите председателю, наймет — так мы и с домами управимся к осени.

Он выжидательно посмотрел на девушку. Девчонка вдруг потухла, стала серьезной.

— Не можем мы, дядя, такие деньги расходовать. Вы небось за один двор сколько тысяч берете с колхоза.— И, вздохнув, добавила: — Мы уж как-нибудь сами для себя-то.

— Бесплатно? — не поверил старик.

— А что с нами делается? — решительно тряхнула головой девчонка.— Ну, пошли! На сегодня хватит. Скоро отбеливать начнет.— Она с тревогой посмотрела в сторону востока, на секунду задержала свой взгляд на Кирилле и пошла.

Беспокойство пришло к парню с того самого вечера...

Неужели и сейчас они? Прислушался Кирилл, и вдруг откуда-то, совсем рядом, из-за сруба, приглушенный девичий голос:

— Тише, девочки. Разбудите шабашников. Ведь тоже, поди, люди... За день-то намахались топорами.

Кирилла обида кольнула в самое сердце. «Шабашники... Это, что ж, отщепенцы?»

Поднялся. Отец спал. Осторожно переступая через спящих, Кирилл скользнул за двор и спустился к ручью. Горько было на душе. «Молоко не привезли,— вспомнил он наказ отца.— Заработать можно... Непочатый край...»

А они? Девчонки?

Он прислушался. Возле штабеля бревен глухо, вразнобой ширкали по сутункам скребицы. Девушки работали молча, сосредоточенно.

Звонче запел ручей, будто обрадовался приходу парня. Но Кирилл, так любивший его однообразные напевы, сейчас словно ничего не слышал.

Шабашники... Как же получилось, что он оказался таким вот отщепенцем?

Мальчишечьи шалости... То в колхозном саду, то в общественном пруду. Мать убивалась по всякому такому случаю. Зато отец смотрел на сына, хитровато щурясь, подмигивал ему и говорил:

— Не обижай кормильца, мать. Эка важность, в сад заглянули мальчишки. Не обеднеет колхоз.

Потом этот поезд. Кирилл ехал из города. Документы в техникум сданы. Теперь только хорошо подготовиться к вступительным экзаменам. Светло, радостно на душе у Кирилла. Смотрит в окно, а мимо бегут кусты, стога сена. Бегут за поездом и угнаться не могут. А поезд будто отбрасывает их своими локтями назад. В соседнем купе — девичий смех и голос: «Я ей говорю: да брось ты убиваться, Тоня. Ну, погоревала — и хватит, возьми себя в руки. Подготовься — и сдашь. Обязательно сдашь!» — И снова смех.

«Похоже, студентки,— думает Кирилл и наливаясь решимостью.— Сдам! За горло возьму себя, но сдам».

Захлопали двери. Кто-то быстро прошел через вагон... Вернулся. Тяжело дыша, шагнул к Кириллу. Поставил чемодан, ногой сунул под сиденье.

— А ну, ты! — услышал Кирилл.— Где сходишь?

Кирилл обернулся. Перед ним стоял невысокий плотный человек. Широкое лицо, глубоко посаженные глаза-буравчики.

— В Соловьихе,— ощутив почему-то озноб, проговорил Кирилл.

— Вот смотри... Понял? — Он кивнул в сторону чемодана.— Меня не видел. Ясно? Я выскочу там же. Ты чемодан вынесешь. Продашь лягавым — от меня не уйдешь.

Неизвестный исчез. А вскоре по вагону прошли трое в милицейской форме. Они внимательно, изучающе посмотрели на Кирилла, остановились. Кирилл хорошо помнит лицо одного из них. Глубокий шрам проходил по правой щеке, вздыбливал намертво бровь и терялся под козырьком фуражки.

— Один? — спросил он.

Кирилл кивнул. Говорить он не мог, язык присох к нёбу.

— Тут не проходил парень с чемоданом, а?

Кирилл похолодел, но отрицательно покачал головой. Трое ушли.

Вот сейчас Кирилл снова почувствовал ожог на щеках. Ему было стыдно. Как он был противен самому себе!

— Трясогузка ты... трясогузка, — прошептал Кирилл с презрением. — Кого испугался?

На станции он сошел с чужим чемоданом. Успел дойти до станционного колокола, висевшего под окнами вокзала... Потом...

Тот самый, с глубоким шрамом, в форме, сказал:

— Чемодан знакомый.

Все пошло прахом! И техникум, и светлые мечты.

— Позор... Позор... — шепчет Кирилл. — Два месяца под следствием, пока не нашли того ворюгу.

И снова отец... Он так легко отнесся к беде своего сына. К тому времени ушел из колхоза и стал шабашничать. Сколотил артель, вручил и Кириллу топор.

— Хватит. Берись за ум.

А чтобы завлечь парня — на гармонь разорился.

— Не помешает в свободный час..

Второе лето ездит Кирилл по чужим краям.

Он посмотрел в сторону гор и ахнул. С вершин расплавленной лавой стекали белки, вспыхивали золотом склоны. Заметив распаренный диск луны, которая не спеша вываливалась из-за седловины самой высокой горы, Кирилл изумленно вздохнул:

— Фу-ты, и луна-то совсем другая!

Какие-то тени качнулись по косогору к ручью, раздался девичий голос:

— Не спится? У нас так: можно всю ночь проглазеть...

Кирилл вскочил и растерянно пробормотал:

— Здравствуйте... Вы домой?

— Ага. Сегодня пораньше решили кончить. Витами-

ный корм телятам весь день заготовливали. Умаялись девочки. Большой воскресник послезавтра устраиваем. Вся молодежь будет тут.

От ручья донеслось:

— Вербуй его, Ленка! Парень ничего себе, ладный. Девушки рассмеялись.

— Лена, значит. Хорошее имя. Да и все вы... Такие дружные.

Лена пристально посмотрела на парня.

— Уж какие есть А вас как величать?

— Пока никак. Просто Кирюхой,— несмело улыбнулся.

— Тоже ничего,— Лена фыркнула, но сразу же добавила серьезно: — Тут у нас комсомольская ферма будет. Все хотим сами...

— Все?

— Конечно. Доильный аппарат добудем.

— Ленка-а! Бессовестная, не крути мозги парню! — закричали, смеясь, девчата. — Пошли-и!

— Сейчас,— отмахнулась сердито Лена и, обернувшись к Кириллу, сказала: — Дружные у нас ребята. Напористые.

— Позавидуешь вам! — вырвалось у Кирилла.

— Завидовать-то что... Ну, конечно, если один и один. Понятно! — сказала Лена и внимательно посмотрела на Кирилла, потом вдруг спохватилась: — Заболталась! Пойду я.

Она сбежала с пригорка, наклонилась над ручьем, вымыла руки, побрызгала в лицо студеной водой и пошла через кусты по едва заметной тропке. А там, в густых зарослях, где скрылись девчата, уже занималась песня:

Огней так много золотых  
На улицах Саратова...

Песня уходила все дальше и дальше, а Кирилл стоял и смотрел в ту сторону, где над речной поймой, над низинкой кочуют туманы, и тревога овладевала им все сильнее и сильнее.

— Ты что квелый такой? — спросил на работе отец.

— Девки небось сердце гложут! — хихикнул плотник Иван Коршунок, плюгавый, вечно взлохмаченный.

Кирилл отмолчался. Но, заметив, как тот подсовывает клин с мохом в перерубленное гнездо, сердито бросил:

— Чего бревно топишь? Совести не имеешь. Угол через год отвалится!

— Эка, хватил,— через год. Да он, милый, с первыми дождями повиснет,— язвительно хохотнул Коршунок.

Кирилл свел тугие брови и, вогнав топор в бревно, с презрением произнес:

— Жулик.

— Кирюха! — грозно рявкнул Коршунок.— Оботри молоко на губах, щенок!

Кирилл выпрямился и смело посмотрел в глаза плотнику.

— Кому строите? Не видите, как люди стараются! А вы... Вы и на кантовке мошенничайете, и на углах. Где совесть?

Тяжелый удар сзади оглушил его. Он схватился за голову. обернулся — перед ним дед Хрипун, как все его звали, родной брат отца. Кирилл увидел только его щербатый рот да ненавистью пылавшие глаза. В следующий миг его сграбастали огромные ручки отца, согнули, повалили на землю.

— Я тебе скажу, я тебе, собачьему сыну, покажу, как подводить, арестант проклятый! — отец схватил подвернувшуюся под руку палку и ударил сына.— Вот тебе! — И снова замахнулся.

— Хватит, Афанасий... Хватит! — оттащил отца Хрипун.— Угробись парня... Он не будет больше. Ведь так, Кирюха? Так?

Размазывая на лице кровь, Кирилл тяжело поднялся и, пошатываясь, пошел к ручью...

А день, как натянутая струна, звенел над взгорьем. Расправив широкопалые листья, горделиво покачивала ветвями черемуха. Весело гремел на гальке ручей, напевая свою бесконечную песенку, будто ничего не случилось. Та же светлая радость бытия. Та же неторопливая, всепобеждающая жажда жизни. Та же манящая даль...

Кирилл опустился на колени, зачерпнул пригоршней воду и стал жадно пить.

На другой день рано утром приехал председатель колхоза. Соскочил с седла и по-хозяйски осмотрел сруб.

— Кажется, неплохо,— пробасил он, и лицо его, молодое, но заросшее светлой щетиной и несколько утом-

ленное, преобразилось.— Давайте нажимайте, братцы. Холмогорок закупаем. Сюда и разместим. Рядом телятник будет,— улыбнувшись мягко, добавил: — Ударная стройка наших комсомольцев.— Садясь в седло, еще раз попросил: — Нажмите, мужики.

Плотники, пристально и напряженно следившие за ним, заулыбались.

— Порадеем... Что ж, порадеем на общее дело. Надо — значит, сделаем,— бодро сказал отец Кирилла, опасливо взглянул в сторону отвернувшегося сына.

— Пожалуйста. Время не ждет,— сказал председатель.

— За нами не станет,— осмелел Хрипун.— Да обижают вот нас.

— Кто?

— Забывают насчет приварку. На лапше живем. Откуда силе быть?

— Уважьте,— проговорил отец.

Подумав, председатель решительно махнул рукой.

— Подскажу. Много не обещаю, но торбока можем забить... С молоком туго. На сенокосе людям надо, да и молодняк опять же. Но как-нибудь оторвем — литров пять в день.

— Премного благодарны.

— А, я извиняюсь, по базарским ценам, аль как, продукты-то? — теребя бороду и сладко шурясь, спросил отец.

— Как себе, так и вам. Дело важнее.

Бородачи повеселели. Загалдели, шумно выражая благодарность. Кирилл поморщился. Ушел со стана.

У вечернего костра отец, помешивая ложкой в бурлящем котелке, из которого исходил сытный парок варящегося мяса, укоризненно-примирительным тоном говорил:

— Ты, Кирюха, не блажи и на отца не хмурься. Чего тебе нейдется? Вот поработаем лето — можешь всю зиму дома баклуши бить. Проживем безбедно. А ты яришься. В нашем деле если б не клин да не мох, плотник давно бы издох. Так-то.

Кирилл мрачно заметил:

— Люди так стараются, а мы им свинью...

— А ты не ярись на отца. Да и Коршунок кто тебе, чужой? Свой он тебе, дядя кровный. Чужих здесь нету.

На том и стоим — друг за дружку, как один. Доставай чашку. Поужинаем.

...Ночью Кирилл проснулся от какого-то шума. Прислушался. Кряхтя и переговариваясь вполголоса, люди что-то тащили волоком по земле. Луна уже зашла за горы, и в долине было темно. Кирилл вгляделся. Возле штабеля смутно маячили тени. Вот стукнуло бревно, второе.

— Катн его к стенке, — задышливый голос с хрипотцой.

«Отец! — мелькнула догадка... — Воруют у девчат ошкуренные бревна. Чтобы не возиться самим».

Всю ночь не спал Кирилл, терзаемый стыдом и злостью. Как только зарозовело на востоке, вылез из-под шубы, взял топор и тихо прошел к штабелю. Пока встали плотники, пока разожгли костер и готовили чай, он шкурил последнее бревно. Когда проходил через стан, плотники делали вид, что ничего не видели, ничего не знают.

Отец при его приближении отвернулся, долго копался в мешке, ища чего-то. Наконец, не оборачиваясь, пробурчал:

— Куда это заварка делась? Ума не приложу.

Кирилл усмехнулся про себя и с независимым видом прошагал к ручью.

В воскресенье на ферму пришло сразу несколько подвод. С телег соскочили парни, девушки. Подшучивая друг над другом, они разобрали железные лопаты и стали о чем-то совещаться.

Кирилл прямо от ручья, с полотенцем в руках, прошел к веселой стайке девчат. Он еще издали узнал Лену. Она лазила по штабелю ошкуренных бревен и разводила руками. Заметив подходившего Кирилла, погрозила ему пальцем:

— Знаю, чья работа... Не отпирайся. — Потом подошла и подала руку: — Спасибо.

Кирилл покраснел.

— Да что там... На воскресник?

— Ага! Будем рыть канаву под фундамент... Камень возить. Вот разбить бы площадку правильно. Дядю Ивана прихватили, — она кивнула в сторону бородатого мужика, тяжело опиравшегося на костыль. — Он у нас за техника и мастера в колхозе.

— Площадка — это чепуха, — сказал Кирилл. — По шнуру, и все будет в аккурат.

От стоянки раздался голос отца.

— Кирюха!

Кирилл кивнул Лене и пошел.

Чем ближе подходила к концу работа, тем беспокойнее становилось на сердце у Кирилла. Он все чаще уходил на свое любимое место у ручья и, растягивая гармонь, про себя напевал:

Мы с тобою не дружили,  
Не встречались по весне,  
Но глаза твои больше  
Не дают покоя мне...

Поет, поет гармонь, наполняя сердце тоской. Лена... Как все вроде, и не как все. Что в ней?

Теснились тревожные мысли. Кирилл обрывал одну мелодию, начинал другую. А между тем росла тревога, не унимаясь. В последний раз, работая, девушки весь вечер пели одну и ту же песню:

Забота у нас большая,  
Забота наша такая:  
Жила бы страна родная —  
И нету других забот.

Лена... Я вижу тебя, понимаю... Каким же выглядишь ты, Кирюха, в глазах этих людей, для которых «жила бы страна родная — и нету других забот»? Вот пришла бы...

И она пришла. Пришла с подойником в руках. Опустилась рядом.

— Это хорошо, что ты играешь... У нас гармонисты — одни женатики. Правда! Сыграй. Эту же.

И Кирилл молча растянул гармонь. Она тихо-тихо стала подпевать. Потом вдруг положила руку на мехи и грустно улыбнулась:

— Спасибо... — и, вздохнув, встала. — Уезжаете скоро? Кирилл поднялся тоже.

— Я провожу тебя.

Они пошли молча. Когда взошли на пригорок, Лена остановилась и повела рукой.

— Вон от тех гор, за Катунью, все земли нашего района.

Кирилл посмотрел окрест.

— Да, Лена... Понимаешь... Я не знаю, как посмотрит

правление... В общем, пошли. Я все расскажу. Я больше не могу так. Понимаешь, сил моих нет больше!

Лена с удивлением смотрела на парня. Она ничего не понимала. А он, решительно забросив гармонь на плечо, взял ее за руку и потянул за собой, к деревне.

...Кирилл не вернулся к утру. Не пришел и к концу дня. Отец не на шутку перепугался и уже хотел идти искать, как прискакал на стан председатель.

— Кирилл не пропал, — сказал он и скрыл в усах загадочную ухмылку. — Кирилл в порядке...

— Где он? — подступил к председателю старик.

— В порядке, говорю. Одним словом, не беспокойтесь. Теперь он — колхозный плотник... А я приехал к вам по такому делу... Дайте-ка лестницу и топор.

— Предал... — отец Кирилла догадался и задышал тяжело и шумно. — Сын предал...

Пылают почти до самого рассвета костры на ферме в долине ручья Тулун. Уже два домика выстроено здесь руками молодых плотников. Заложили третий. После работы у костров веселится молодежь. На весь колхоз один-разъединственный неженатый гармонист. Поет, поет гармонь. Только почему-то уж очень часто одну и ту же мелодию.

Видно, пришлось по сердцу она молодому гармонисту. А может, и по другой причине. Ох, ходят слухи, недолго играть гармошке в холостяцких руках и на этот раз! Не везет молодежи.

А может, просто слухи? Ни Кирилл, ни Лена пока ничего не говорят об этом.

## Трактористы

Ленька вылез из шалаша. Стряхнув с плеч шелуху, поминутно сыпавшуюся из сухого валежника, которым было накрыто легкое жилье трактористов, он повесил на шею полотенце и пошел к ручью в Барсучий лог. У самой воды, споткнувшись, охнул и запрыгал на одной ноге.

— Проклятый пень... И ведь каждое утро... черт!

В кустах раздался сдержанный девичий смех.

— Так и надо! Так и надо — не ходи босиком.

Галя! Фу-ты... Постоянно утром бывает здесь. Что, собственно, ей надо? Кого она выглядывает? Ильку?

Из кустов вышла худенькая, черноглазая девушка. Волосы ее были слегка влажны. Они лежали волнами, а кончики их, высохшие, лохматились. В глазах девушки прыгали солнечные насмешливые зайчики. Трудно отвести взгляд от ее лица. Смотришь и забываешь обо всем на свете. Ведь и неудобно так-то: в майке, с облупленными плечами, босому стоять перед ней. А она ничего. Улыбается и светло, безмятежно смотрит на него. Будто ждет чего-то...

Ленька потоптался на месте и с ехидцей, грубовато бросил:

— Все витаминный укос примечаешь?

— Ага... Примечаю, — не обиделась Галя. — А вы тут поаккуратней с травой-то.

— Сейчас! — буркнул насмешливо Ленька. — В этом логу Европу спрятать можно. Не найдешь. И вообще, знаешь, что я тебе скажу?

— Что? — затаилась в ожидании Галя.

— Илька приходит со смены ровно в восемь. Пони-маешь? Ну, и иногда на полчаса позже...

Галя какое-то время смотрит на него большими глазами, потом круто поворачивается и, будто нехотя, уходит. Ленька провожает ее долгим взглядом. Обиделась. А за что? Все знают, что Илька самый счастливый парень в бригаде... Разве не ради него она торчит тут у ручья? Нечего и дуться.

Ленька умылся, прихватил в листок медуницы обмылок и, наотлет держа руку, легкими прыжками взбежал наверх.

Уже далеко маячила фигурка девушки. Она торопливо шла к березовому колку, сквозь деревца которого виднелось белое здание телятника.

«Сказать или не сказать Ильке?» — думал Ленька. Вскрыв ножом консервную банку, он задумчиво поглядывал в степь на черные валки пахоты и машинально, без всякого аппетита завтракал.

Ленька очень дорожил дружбой Ильки. Даже какую-то нежность испытывал к нему. Может, оттого, что Илька был статней и красивей его, Леньки, но мускулов, как

у Леньки, не имел. И поэтому Леньке всегда хотелось что-то сделать за Ильку.

У Ильки была на редкость счастливая внешность. Продолговатое лицо. Нос с небольшой горбинкой. Открытые, всегда веселые глаза какого-то изменчивого цвета. И волосы... Целая копна волос. Илька внимания на них совсем не обращал, а они в своем безалаберном разлете красиво падали на лоб.

Тогда еще, в вагоне, когда ехали они вместе в этот целинный совхоз, Леньке, слушавшему, как легко пел и играл на гитаре этот красивый парень, казалось, что трудненько будет ему какими-то пальцами держать студеную ручку прицепа или шуровать вилами колючую кипень соломы на комбайне. Но Илька оказался в работе боевым и ненасытным. В нынешнюю весну им доверили новенький ДТ-54. И такой неизмеримой ярости и жадности в деле еще не видел у других Ленька, какие были у его друга. И мало, мало ему сменных часов! Шатается от усталости, слово во всю силу не может произнести, а все щерит свои белые зубы и просит:

— Ну ты, Леня... Будь другом, а? Еще гон дам, а? Один... Последний...

И в шалаше Илька умел находить заделье. Во все дыры цветов понатычет, подметет, перемоеет посуду, платочки стиранные поразвесит. И что бы ни делал Илька, все у него выходило складно и красиво. Даже в пахоте его, как говорит бригадир, какой-то свой почерк. Девушки заглядывались на Ильку, и не было от этого ни у кого ни обиды, ни зависти, так, казалось, и должно быть. Правда, Галя почему-то в танцах предпочитала его, Леньку, но разве он не видел и не чувствовал, что она тянется к Ильке, только, наверное, не решается идти к нему с открытым сердцем. Будто издали изучает его. Что ж, он это отлично понимает и радуется за друга...

Илька вернулся с восходом солнца. Ленька посмотрел на него, и что-то впервые не понравилось в его лице. Что это было, мелькнувшее в глазах друга: не то гордость, не то самонадеянность — не мог определить Ленька, только помнит: кольнуло его тогда. Он хотел видеть Ильку таким же омытым счастьем любви, как это взошедшее солнце. Чистое, ласковое, жгучее. Любовь такой девушки, как Галя, не может, казалось Леньке, не преобразить человека, не зажечь его, не наполнить жгучим

В кустах раздался сдержанный девичий смех.

— Так и надо! Так и надо — не ходи босиком.

Галя! Фу-ты... Постоянно утром бывает здесь. Что, собственно, ей надо? Кого она выглядывает? Ильку?

Из кустов вышла худенькая, черноглазая девушка. Волосы ее были слегка влажны. Они лежали волнами, а кончики их, высохшие, лохматились. В глазах девушки прыгали солнечные насмешливые зайчики. Трудно отвести взгляд от ее лица. Смотришь и забываешь обо всем на свете. Ведь и неудобно так-то: в майке, с облупленными плечами, босому стоять перед ней. А она ничего. Улыбается и светло, безмятежно смотрит на него. Будто ждет чего-то...

Ленька потоптался на месте и с ехидцей, грубовато бросил:

— Все витаминный укус примечаешь?

— Ага... Примечаю,— не обиделась Галя.— А вы тут поаккуратней с травой-то.

— Сейчас! — буркнул насмешливо Ленька.— В этом логу Европу спрятать можно. Не найдешь. И вообще, знаешь, что я тебе скажу?

— Что? — затаилась в ожидании Галя.

— Илька приходит со смены ровно в восемь. Понимаешь? Ну, и иногда на полчаса позже...

Галя какое-то время смотрит на него большими глазами, потом круто поворачивается и, будто нехотя, уходит. Ленька провожает ее долгим взглядом. Обиделась. А за что? Все знают, что Илька самый счастливый парень в бригаде... Разве не ради него она торчит тут у ручья? Нечего и дуться.

Ленька умылся, прихватил в листок медунки обмылок и, наотлет держа руку, легкими прыжками взбежал наверх.

Уже далеко маячила фигурка девушки. Она торопливо шла к березовому колку, сквозь деревца которого виднелось белое здание телятника.

«Сказать или не сказать Ильке?» — думал Ленька. Вскрыв ножом консервную банку, он задумчиво поглядывал в степь на черные валки пахоты и машинально, без всякого аппетита завтракал.

Ленька очень дорожил дружбой Ильки. Даже какую-то нежность испытывал к нему. Может, оттого, что Илька был статней и красивей его, Леньки, но мускулов, как

у Леньки, не имел. И поэтому Леньке всегда хотелось что-то сделать за Ильку.

У Ильки была на редкость счастливая внешность. Продолговатое лицо. Нос с небольшой горбинкой. Открытые, всегда веселые глаза какого-то изменчивого цвета. И волосы... Целая копна волос. Илька внимания на них совсем не обращал, а они в своем безалаберном разлете красиво падали на лоб.

Тогда еще, в вагоне, когда ехали они вместе в этот целинный совхоз, Леньке, слушавшему, как легко пел и играл на гитаре этот красивый парень, казалось, что трудненько будет ему такими-то пальцами держать ступенную ручку прицепа или шуровать вилами колючую кипень соломы на комбайне. Но Илька оказался в работе боевым и ненасытным. В нынешнюю весну им доверили новенький ДТ-54. И такой неизмеримой ярости и жадности в деле еще не видел у других Ленька, какие были у его друга. И мало, мало ему сменных часов! Шатается от усталости, слово во всю силу не может произнести, а все щерит свои белые зубы и просит:

— Ну ты, Леня... Будь другом, а? Еще гон дам, а? Один... Последний...

И в шалаше Илька умел находить заделье. Во все дыры цветов понатычет, подметет, перемоем посуду, платочки стиранные поразвесит. И что бы ни делал Илька, все у него выходило складно и красиво. Даже в пахоте его, как говорит бригадир, какой-то свой почерк. Девушки заглядывались на Ильку, и не было от этого ни у кого ни обиды, ни зависти, так, казалось, и должно быть. Правда, Галя почему-то в танцах предпочитала его, Леньку, но разве он не видел и не чувствовал, что она тянется к Ильке, только, наверное, не решается идти к нему с открытым сердцем. Будто издали изучает его. Что ж, он это отлично понимает и радуется за друга...

Илька вернулся с восходом солнца. Ленька посмотрел на него, и что-то впервые не понравилось в его лице. Что это было, мелькнувшее в глазах друга: не то гордость, не то самонадеянность — не мог определить Ленька, только помнит: кольнуло его тогда. Он хотел видеть Ильку таким же омытым счастьем любви, как это восшедшее солнце. Чистое, ласковое, жгучее. Любовь такой девушки, как Галя, не может, казалось Леньке, не преобразить человека, не зажечь его, не наполнить жгучим

сиянием счастья. Но, может, в то утро просто показалось Леньке? Ведь видел после, как Илька ревниво и осторожно оберегал Гаю: от завистливых глаз и разговоров, от сплетен, от многозначительных намеков.

Когда секретарь комсомольской организации Витя Степанов весьма прозрачно посетовал на то, что ни одной еще не сыграно целинной свадьбы, все невольно посмотрели на Ильку и Гаю. Илька нахмурился, а Галя грустно улыбнулась. Что у них? Неужели не ладят? Вот позавчера на стане бригады были танцы под баян. Галя взглянула на Леньку, даже обозвала его, кажется, увальнем, взяла его за руку и, смеясь, покачала головой.

— Что? Шершавая? — хмыкнул Ленька и посмотрел в толпу парней... Илька на смене, а то бы сказал непременно: «Смотри, какая разборчивая она у тебя».

А Галя всерьез ответила:

— Красивая рука... Мужская. Сильная.

— Как положено,— растерялся Ленька и кашлянул. Ему было очень приятно с ней. Конечно, он понимает ее. У них небось с Илькой все прочно и, возможно, навсегда. С кем же ей еще пройтись в танце, как не с Илькиным лучшим другом, когда она одна!..

Вел ее Ленька в танце легко и думал о том, что вот и для него может найтись такая девушка, которую он полюбит. Но тут же испугался этой мысли. Дикой и нелепой показалась она ему вдруг. Разве могут быть девушки такими, как Галя? И красотой взяла, и характером, и делами своими... А под стать ей только Илька. И кто отважится рядом с ними закрутить свою любовь, завязать узелок? Она, думалось Леньке, не будет такой яркой и заметной. А вот у них настоящая любовь — всей бригадой за нее переживают.

...С такими мыслями шагал Ленька по мягкой пахоте навстречу рокочущему трактору. Заметив, что Илька и не думает сбавлять скорость, Ленька погрозил ему кулаком и решительно вошел в борозду. У самых Ленькиных ног сбросил Илька газ и, размалеванный, весь в жирных пятнах от гари и масла, соскочил на землю.

— Сегодня у тебя не прошел номер,— улыбнулся Ленька и стал наметанным глазом осматривать агрегат.

— Посмотрим, как у тебя пройдет...

— Устал? — спросил Ленька.— Я там консервы на угли приспособил...

Илька благодарно блеснул глазами и весело пообещал разделаться с ними.

— Жрать вот как хочу.— Он полоснул ладонью по горлу.

— Ты бы хоть отдохнул, Илька... Похудел... Не спишь ведь.— Ленька многозначительно кивнул головой в сторону телятника и добавил: — И она доходит с тобой.

Илька рассмеялся.

— Отоспимся в стариках, когда на пенсию пойдем...

Ленька сел в кабину, попробовал рычаги и будто между прочим тихо произнес:

— Была... В Барсучьем видел.

Илька встрепенулся.

— Ничего не наказывала?

Ленька покачал головой.

— Радости у меня, Лешка, столько... Столько, что весь мир мог бы наделить ею! — воскликнул Илька.

Хорошо, когда так счастлив человек. Честное слово!

\* \* \*

День выдался ясным, по-весеннему ласковым. В проеме дверцы Ленька видел голубое небо, в котором маленькими, запущенными из праща комочками кувыркались жаворонки. Останови мотор — и сразу услышишь их перезвон. Откуда-то, видно из Барсучьего лога, тянуло тонким ароматом цветов. Даже сквозь тягостный запах бензина и смазки пробивался дух весны. Хорошо начал смену Ленька. Улавливая одним ухом стук мотора и поглядывая изредка в заднее окошечко на тяжелый агрегат, он думал о том, что сейчас делает Илька. Сейчас небось плещется в ручье.

И вдруг мысль метнулась к Гале. Витаминный корм нищет для телят... Ишь ты... Ленька усмехнулся. Так и поверили тебе. Кружат, теснятся в голове привычные думки. А конец гона все ближе и ближе к белым дворикам. Вот что-то рассыпалось пятнистое на лужайке. «Телят выгнала на «зелёнку», — догадался Ленька. — Ишь, взбрыкивают».

Не доходя до телятников, Ленька круто развернулся. Он не заметил, как у трактора с хворостинкой в руке оказалась девчонка с насмешливыми светлыми глазами.

— Эй!

Ленька остановил машину.

— Чего тебе? — неласково спросил он, узнав в ней известную всему отделению просмешницу и хохотушку Лизку Орехову.

— У-у, бугай! — сердито вытянула губы Лизка. — Прокати... а?

И не успел Ленька отмахнуться от нее, как та ловко заскочила в кабину.

— Да ты что? Шутишь?

Лизка откинулась назад и засмеялась.

— Жалко, да?..

Ленька включил скорость. Что с ней наговорил? Вреднючая и настырная девчонка.

— Сиди! Может, очумеешь от гула и запаха-то в кабине.

Лизка, помахивая прутиком, помолчала немного, потом лукаво посмотрела на сердитого тракториста и, сдерживая смех, прокричала ему в ухо:

— Привет тебе одна передавала... Хи-хи... Танцор!

Ленька побагровел. В ушах его зашумело от подступившей к лицу крови.

— Ты что? — прохрипел он, хватая дрожащей рукой фрикцион.

— Привет, говорю, от Гали... Уж очень она довольна, как ты ее водишь по кругу.

Ленька рывком сбросил газ. Лизка качнулась вперед и испуганно вскрикнула:

— Вот бешеный!

— Слазь! — приказал Ленька.

— Ну-у, чумной, — вскинула тонкие брови Лизка, выпархивая па жнивье. — Ему правду... А он — шальной. А наплевать! И чего это я пекусь за него?

Ленька долго не мог успокоиться. Такая зловердная на язык девчонка. Все настроение испортила.

\* \* \*

...Обед принес сам Илья, а не повариха, как обычно.

— Лопай голубцы, друг, — сказал он с грубоватой лаской. — А я дам кружок...

После обеда он попросил:

— Сегодня, Лешка, у меня окончательный будет разговор. Понял?

— Конечно, чего тут не понять. Хватит канителить.

— Так вот, Леша... Может, на часок и задержусь... а? Такое дело... Не часто в жизни бывает.

— Иди. До утра, отработаю. Сейчас на старопахотный клин вырвались. Легче пойдет дело, — твердо сказал Ленька.

— Спасибо, Леша, я на часик. Не больше...

«Вот, пожалуй, и дожили, товарищ секретарь комсомола, до свадьбы-женитьбы», — подумал Ленька уже в борозде, вспоминая уговор с Илькой.

Вечер, тихий и мирный, исходил в красноватой полоске заката, обещая здоровое, ядреное утро. Густели тени. Уже окончательно стерлись вечерние зарницы, и на небе, покачиваясь и стыдливо помигивая, словно извиняясь за свое раннее появление, зажглись звезды. В степи вспыхивали огни. Они двигались в разных направлениях, то исчезали за бугорками, то вновь появлялись. И от этого казалось, будто движется множество светлячков.

Пахать на старой земле без прицеппика было нелегким делом: забивало лемеха. Нередко на полосе попадались валки не убранной с осени соломы. Приходилось соскакивать и очищать плуги. Правда, норму Ленька давно уже перекрыл в полтора раза, но он успеет еще гоня три-четыре дать.

Мощным гулом рвет ночную сумеречь Ленькин трактор. За плугами тянутся черные буруны пластов. Если б не эта солома! Вот опять тормози машину — валок. А под ним, того и гляди, броневой пласт льда... Но что это? Ленька поспешно нагнулся, всматриваясь, и резко нажал на педаль сцепления. Трактор, сотрясаясь, остановился. С валка соломы поднялся человек и, качаясь, пошел навстречу.

— Илька! — прокричал Ленька и соскочил на жнивьё. — Ты?

Илька снял с себя пиджачок и молча протянул его Леньке, а сам полез в кабину.

— Стой! Куда же ты в новых брюках! Миллионер! — остановил его Ленька. — Снимай. На мон. Да что с тобой?

Илька послушно взялся за брюки, отстегнул ремень, криво ухмыльнулся.

— Не спрашивай, — мрачно проговорил Илька. — Нету Гали. Все! — Он решительно махнул рукой и стал топорливо раздеваться. — Нету, Ленька, ее... для меня... Навсегда!

Ленька ошалело смотрел на друга и ничего не понимал.

— Ну что ты зенки пялишь? Была и нет, говорю. Не любит!

— Как это не любит?— ужаснулся Ленька.— Да она что?— Голос его внезапно окреп, стал угрожающе сердитым.

— Да так. Бывает, брат. Люблю, говорит, другого. Но дружить, говорит, дружить не отказываюсь.— Илька презрительно усмехнулся.— Дружить. Понимаешь?

Илька медленно полез в кабину. Молча запустил трактор, включил свет. Ослепительными ракетами вылетели на пахоту лучи и застыли. Илька повел машину, даже не посмотрев на друга.

Бережно неся в руках Илькин костюм, Ленька в одних трусах и майке побрел к шалашу. Возмущение и гнев на вероломную девчонку распирали его. «Ну, погоди ж. Погоди. Встретишься еще. Поговорим. Тогда уж не обижайся,— мрачно цедил вполголоса Ленька. Он даже оглянулся в сторону телятников и, хотя ничего не увидел там, погрозил кулаком.— Не обижайся».

Потом мысли его метнулись в другом направлении. Кого же она любит? Ленька стал перебирать в памяти всех парней отделения и бригады, но ни на одном не остановился. Со всеми она была равна и, кажется, ко всем равнодушна. Может, не здешний он? Тогда зачем крутить мозги?

Возле шалаша вдруг вспыхнул небольшой костер. Какое-то белое пятно мельтешило около него. «Кто бы это мог быть?— удивился Ленька.— Комсорг?» Он часто и ночами приходит. Небось опять со своими намеками к Ильке: скоро ли свадьба-то намечается? За нос водила человека, и никто не видел этого...

Вдруг в нескольких шагах от костра Ленька остановился и замер. Заслоняясь от пламени, в степь, прямо в его сторону смотрела девушка. Она была в белом платье, на плечах внакидку висел пиджачок. Сердце почему-то сжалось, будто Леньку кто родниковой водой облил. Это была Галя. Что ей надо?

— Леша, ты?— девушка шагнула от костра.— Ну, что остановился? Странно, да?

Ленька выдавил сквозь зубы:

— Ты бы поменьше такие шутки откалывала... На-

шла чем шутить. Он там черт-те что небось выделяет на тракторе...

Галя потупилась. Ленька осмелел и уже добродушной добавил:

— Иди, иди. Выправляй линию. Изведется ведь...

— Нет, Леша... Нет,— вздохнула девушка.

— Как? Значит, ты...— задохнулся Ленька.

— Да, Леша... Да.— Галя подняла голову и посмотрела ему в лицо.— Это правда.

Ленька пристально глянул в ее глаза и, откачнувшись, метнулся к костру, расшвырял его ногами. Искрясь и чадая, полетели в темноту головни. Потом он бросил на шалаш Илькин костюм и побежал к ручью.

— Леша!— услышал он.

Ленька круто остановился и с бешенством бросил:

— Нету здесь тебе сочувствующих... Поняла? Нету!..

— Леша, ты погоди. Не горячись...

Но парень уже не слышал ее. Он исчез в темноте. У шалаша, на кромке ската, еще некоторое время маячила белая фигурка...

\* \* \*

Все эти дни Илька был угрюм и раздражителен. Он не ходил на бригадный стан, где по-прежнему вечерами собиралась молодежь. Чаще Ильку можно было встретить у ручья в Барсучьем логу, одиноко сидевшего на валуне или бесцельно бродившего в поле. Казнился Ленька, глядя на друга, но не знал, чем помочь. Что тут поделаешь, если так получилось? И самое страшное было в том, что Ленька уже не мог сердиться на Галя. Леньке почему-то все чаще и чаще вспоминался последний ее приход. Отчаяние и какая-то покорность была во всей ее фигуре.

Ленька пытался не думать о ней, но не мог. А Галя не приходила больше ни на вечеринки, ни к Барсучьему логу. Возилась день и ночь со своими телятами. Как-то раз, опахивая березовый колок, Ленька увидел ее. Она рвала цветы. Остановил трактор, и тотчас же до него донеслась песня. И так ему стало не по себе. «Ну за что на нее сердиться? Разве она виновата?»— подумал Ленька, и захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, теплое. Но Галя, увидев его, убежала.

— Поду-умаешь,— обиделся Ленька.— Не очень-то ты мне и нужна...

Второй раз Ленька увидел ее часом позже. Она гнала телят. Галя остановилась и долго смотрела в его сторону (Ленька видел это в заднее окошко), и у него сжалось сердце.

Пахота заканчивалась. Оставалась всего одна полоска, которую Ленька решил «добить» к утру.

Все эти дни не знал покоя. Голова пылала, и неотступно билась мысль — увидеть Галю. Увидеть хоть издали, хоть на одну секунду. Сердился на себя Ленька, но справиться с собой не мог.

— Хоть бы уехала! Хоть бы исчезла,— шептал он в отчаянии. А тут еще эта просмешница Лизка... Вчера изогнула брови и таким бесенком пропела:

— И что это у вас по два учетчика на полосе шляет каждый вечер... а?

— Какие еще учетчики? — Ленька сердито кольнул взглядом девчонку.

— Ах, он и не знает даже! Скажите! Есть такая...

— Хватит болтать! — оборвал ее Ленька, чувствуя, что краснеет от ее слов.

— Ах, ах! — покачала головой Лизка.

«Хожу небось как телок. Вот и догадывается», — пугался Ленька ее постоянных колючих намеков.

...Занималась утренняя заря, когда Ленька подпахал поле у последних куч соломы. Еще два-три поворота, и можно поднимать плуги. Когда взойдет солнце, Ленька уже будет у шалаша. Он подъедет туда на тракторе. Наверное, придется цеплять сеялку. Время не ждет. Весна.

И тут в свете фар возникла, словно видение, фигура девушки. «Галя!» — замер Ленька. Она стояла на полосе, прижав руки к груди.

Опомнившись, Ленька рванул на себя рычаги, остановил трактор. Он хотел было отругать ее, эту взбалмошную девчонку, но когда увидел глаза, полные слез, когда скорее сердцем, чем разумом, понял слова: «Я ждала тебя...» — больше не мог сделать ни одного шага. «Каким же бестолковым пнем надо быть, чтобы не догадаться — не Ильку она любит!..»

— Галя, прости меня... — чуть слышно прошептал он.

## Содержание

Очерки	
Чуйский тракт . . . . .	5
В краю легенд . . . . .	10
Тропой древних . . . . .	10
Лебединое озеро . . . . .	12
Долина водопадов . . . . .	16
Голубая падь . . . . .	19
Вниз по Чолушману . . . . .	19
Обелиск . . . . .	25
Озеро-улыбка. Озеро-зверь. Озеро-легенда... . . . .	31
Чолушманские новеллы . . . . .	37
Опасное соседство . . . . .	37
Удар . . . . .	38
Старик и степь . . . . .	39
Живая вода . . . . .	43
Караван идет по степи . . . . .	49
Тан-Чолмон — утренняя звезда . . . . .	52
Костер . . . . .	52
В поиске . . . . .	55
Особый фактор . . . . .	56
Стоянка на Кара-Кель . . . . .	58
Хозяйка Ак-Тала . . . . .	63
Ветка старого кедра . . . . .	67
Над Катунью-рекой . . . . .	72
Беловодье . . . . .	72
Тюнгур — слава героев . . . . .	73
Кара-Тюрек — черное сердце . . . . .	77
Табунщик из Ороктоя . . . . .	80
Олений парк . . . . .	85
«Разлучник» . . . . .	85
Обморок . . . . .	88
Зов природы . . . . .	90
На ринге . . . . .	92
Пришельцы . . . . .	94
Под Хайдуном — лето . . . . .	95

Здравствуй, новый Каярлык! . . . . .	102
Шаргайта — село солнечное . . . . .	108
Тойлош Мендешева . . . . .	120
Девичьи плесы . . . . .	131
Такой у нее характер . . . . .	133
Когда «цветут» панты . . . . .	140
«Покормушка» . . . . .	140
«Девичник» . . . . .	144
Марал принимает «целебную ванну» . . . . .	147
На троне мужественных . . . . .	150

### Рассказы

Под Чаптыганом . . . . .	159
Почтарь . . . . .	164
Весна аксакала . . . . .	172
Настенька . . . . .	175
В бурю . . . . .	182
Крутой поворот . . . . .	188
Трактористы . . . . .	197

ИБ № 446

**Александр Михайлович  
Демченко**

В КРАЮ  
ЛЕГЕНД

Редактор **Л. Костина**  
Художественный редактор **В. Покусаев**  
Технический редактор **Л. Анашкина**  
Корректоры **Н. Саммур, Л. Антонова**

Сдано в набор 20/XII-1976 г. Подписано к печати 6/IV-1977 г. А06666. Формат изд. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 10,99. Тираж 30 000 экз. Заказ № 6. Цена 99 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25



99 кол.